



ЭНТОНИ

БЁРДЖЕСС

СЕМЯ ЖЕЛАНИЯ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Энтони Бёрджесс

Семя желания

«АСТ»

1962

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Бёрджесс Э.

Семя желания / Э. Бёрджесс — «АСТ», 1962 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-094072-1

«Семя желания» (1962) — антиутопия, в которой Энтони Бёрджесс описывает недалекое будущее, где мир страдает от глобального перенаселения. Здесь поощряется одиночество и отказ от детей. Здесь каннибализм и войны без цели считаются нормой. Автор слишком реалистично описывает хаос, в основе которого — человеческие пороки. И это заставляет читателя задуматься: «Возможно ли сделать идеальным мир, где живут неидеальные люди?..»

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-094072-1

© Бёрджесс Э., 1962

© АСТ, 1962

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	11
Глава 4	13
Глава 5	15
Глава 6	17
Глава 7	18
Глава 8	20
Глава 9	23
Глава 10	25
Глава 11	29
Глава 12	32
Глава 13	36
Часть вторая	37
Глава 1	37
Глава 2	40
Глава 3	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Энтони Бёрджесс

Семя желания

Часть первая

Глава 1

Время? День, вечером которого ударят ножи правительственного разочарования.

Беатрис-Джоанна Фокс всхлипывала от горя, пока маленький трупик в желтом пластмассовом гробу передавали двум представителям Министерства сельского хозяйства (Департамент утилизации фосфора). Из ДПУ прислали развеселую парочку: эти угольно-черные типы постоянно улыбались, сверкая вставными челюстями, а один еще и распевал недавно ставшую популярной песенку. После телевизионных трелей грациозных безликих мальчиков эта песенка, исполняемая хрипловатым баском плотоядного потомка выходцев из Вест-Индий, звучала неуместно. А еще жутковато.

Мой милый Фред – душка:
Сладок от пяток
До самой макушки.
Он моя сушка!
А может быть, мясо!
Мя-я-ясо, хочу я мя-а-са!

Покойничка звали не Фред, а Роджер. Беатрис-Джоанна давилась слезами, но черномазый продолжал петь, нисколько не смущаясь происходящим: повторение обыденного ритуала вырабатывает требуемую непринужденность.

– Ну вот и готово, – сердечно сказал доктор Эйчсон, толстый англосаксонский мерин. – Еще капелька пентоксида фосфора вернется к старой доброй матери-земле. Пожалуй, и полкило не наберется. Но всякое лыко в строку.

Теперь певун засвистел. И насвистывая, согласно закивал и протянул квитанцию.

– Пройдемте ко мне в кабинет, миссис Фокс, – улыбнулся доктор Эйчсон. – Я дам вам копию свидетельства о смерти. Отнесете его в Министерство бесплодия, и вам выплатят утешительные. Наличными.

– Я хочу только вернуть моего сына, – всхлипнула она.

– Ну ну, это пройдет, – весело сказал доктор Эйчсон. – У всех проходит.

Он благосклонно смотрел, как двое в черном уносят гробик к лифту. Двадцатью этажами ниже их ждал фургон.

– Взгляните на это в масштабах страны, в глобальных масштабах. Одним ртом меньше. И полкило пентоксида фосфора, чтобы подпитать землю. В каком-то смысле, миссис Фокс, вы получите сына назад.

Он первым прошел в крошечный кабинет.

– Мисс Хёршхорн, – обратился он к секретарше, – будьте добры свидетельство о смерти.

Мисс Хёршхорн, тевтонокитайка, стремительно проквала данные в аудиограф на столе, и из прорези вылезла карточка. Доктор Эйчсон штампом поставил подпись – плавную и с завитушкой, женственную.

– Вот, пожалуйста, миссис Фокс, – сказал он, – и постарайтесь смотреть на вещи рационально.

– Как я посмотрю, – резко ответила Беатрис-Джоанна, – вы могли бы спасти его, если бы захотели. Но вы решили, что оно того не стоит. Лишний рот, который Государству полезней в качестве фосфора. Как же вы бессердечны!

Она снова заплакала.

Мисс Хёршхорн, худая дурнушка с собачьими глазами и прилизанными черными волосами, скорчила доктору Эйчсону недовольную гримаску: по всей очевидности, они к такому привыкли.

– Он был очень плох, – мягко сказал доктор Эйчсон. – Мы делали что могли: Гоб свидетель, делали. Но этот штамм менингококковой инфекции просто-таки, сами понимаете, галопирует. А кроме того, – добавил он с упреком, – вы слишком поздно его нам привезли.

– Знаю, знаю. Я виню себя. – Ее крошечный носовой платок совсем промок. – Но я думаю, его можно было спасти. И муж тоже так думает. Вам просто больше нет дела до человеческой жизни! Всем вам! Ох, мой бедный мальчик!

– Нам есть дело до человеческой жизни, – строго возразил доктор Эйчсон. – Но также нам важна стабильность. Наша забота – избегать перенаселения. Наша забота – чтобы у всех было достаточно пищи. – Думаю, – уже добрее добавил он, – вам следует поехать домой и отдохнуть. Покажите это свидетельство в Пункте выдачи лекарств и попросите дать вам пару успокоительных. Ну же, ну же. – Он похлопал ее по плечу. – Надо постараться быть разумнее. Постараться быть современной. Такая умная женщина... Оставьте материнство низшим классам, как и назначено природой. Именно это, конечно же, вам и полагается согласно правилам. Вы получили рекомендованный рацион. Для вас – никакого больше материнства. Постарайтесь перестать чувствовать себя матерью. – Он снова ее похлопал, желая прекратить этот разговор, и сказал: – А теперь прошу меня простить...

– Никогда, – заявила Беатрис-Джоанна. – Я никогда вас не прошу. Никого из вас не прошу.

– Всего хорошего, миссис Фокс.

Мисс Хёршхорн включила маленькую речевую машину, которая с маниакальностью синтетического голоса принялась перечислять встречи, запланированные для доктора Эйчсона на остаток дня. Тем временем доктор Эйчсон невоспитанно повернулся спиной к Беатрис-Джоанне. Все было кончено: ее сын был на пути к месту, где его превратят в пентоксид фосфора, а сама она превратилась в хнычущую помеху.

Вскинув голову, она широким шагом вышла в коридор, тем же широким шагом двинулась к лифту. Беатрис-Джоанна была красивой женщиной двадцати девяти лет, красивой на былой манер, что теперь не одобрялось в женщинах ее класса. Прямое непривлекательное черное платье не могло скрыть роскошного изгиба бедер, как не мог совершенно сплющить великолепную округлость груди стягивающий корсаж. Согласно моде ее волосы цвета сидра были не завиты, лоб скрывала челка, на лице – тонкий слой простой белой пудры. Духов она не носила, поскольку те отводились исключительно для мужчин. Но даже невзирая на естественную бледность горя, она как будто сияла и светилась здоровьем и – что весьма порицалось – угрозой плодовитости. Было в Беатрис-Джоанне что-то атавистическое: сейчас она инстинктивно вздрогнула при виде двух женщин-рентгенологов в белых халатах, которые, выйдя из своего отделения в другом конце коридора, прошествовали к лифту, нежно улыбаясь друг другу и сплетя пальцы. Теперь подобное поощрялось – что угодно, лишь бы отвлечь секс от его естественного завершения: вся страна пестрела плакатами, развешанными по распоряжению Министерства бесплодия. На плакатах – какая ирония! – в пастельных тонах детской бесполое пары обнимались под лозунгом: «Гомо есть Сапиенс». В Институте гомосекса даже проводились ночные семинары.

Входя в лифт, Беатрис-Джоанна глянула на обнимающуюся парочку с инстинктивным отвращением. Лесбиянки, обе белые, европеоидной расы, дополняли друг друга полнейшим стереотипом: игривый котенок под стать лягушке-быку. Повернувшись спиной к поцелуям, Беатрис-Джоанна испытала рвотный позыв. На девятнадцатом этаже лифт подобрал фатоватого задастого молодого человека, стильного, в хорошо сшитом пиджаке без лацканов, узких бриджах и цветастой рубашке без ворота со множеством защипов. И он тоже посмотрел на влюбленных с явным отвращением, но, брезгливо поведя плечами, с равной неприязнью скривился при виде женственности Беатрис-Джоанны. Нарботанными быстрыми движениями он начал поправлять макияж, обсасывая губную помаду и жеманно улыбаясь собственному отражению в зеркале лифта. Влюбленные хихикали – то ли над ним, то ли над Беатрис-Джоанной. «Куда катится мир!» – подумала она, когда лифт снова стал опускаться, но, тайком приглядевшись к фату, решила, что это ловкая маскировка. Возможно, он, как и ее деверь Дерек, ее любовник Дерек, постоянно играет на публику и своим положением, своими шансами на карьеру обязан бесстыдной лжи. И невольно она в который раз (а такое случалось часто) подумала, что есть, наверное, что-то глубинно-нездоровое в мужчине, который вообще способен разыгрывать подобное. Она была уверена, что сама никогда не смогла бы притворяться, заставить себя совершать вязкие безжизненные телодвижения извращенной любви, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Мир сошел с ума. Когда все это кончится? Лифт спустился на нижний этаж, она сунула сумочку под локоть, снова вскинула голову и приготовилась храбро окунуться в безумный мир снаружи. По какой-то причине двери лифта не открылись («Ну же! – недовольно цокал языком задастый франт, трясся двери. – Ну же!»), и в это мгновение из-за неосознанного страха оказаться в ловушке ее больное воображение превратило кабину лифта в желтый гробик с потенциальным пентоксидом фосфора.

– Ох, – тихонько всхлипнула она, – бедный маленький мальчик!

– Ну же! – защебетал при виде ее слез юный фат, сияя цикламеновый помадой.

Двери лифта отпустило, и они разошлись. С плаката на стене вестибюля на них смотрели обнявшиеся любовники-мужчины. «Возлюби ближнего своего», – призывал лозунг. Влюбленные медсестры захихикали над Беатрис-Джоанной.

– Пропади вы пропадом! – крикнула она, вытирая глаза. – Чтоб вам всем провалиться! Вы нечисты. Вот что с вами такое: все вы попросту нечисты!

Молодой человек покачулся, неодобрительно цокнул языком и, покачивая бедрами, двинулся прочь. Кряжистая лесбиянка защищающим жестом обняла подругу за плечи и враждебно уставилась на Беатрис-Джоанну.

– Я ей устрою нечистую, – хрипло произнесла она. – Вмажу ее лицом в грязь, вот что я сделаю.

– Ах, Фреда, – обожающе вздохнула вторая, – ты такая храбрая!

Глава 2

В то время как Беатрис-Джоанна спускалась, ее муж Тристрам Фокс поднимался. Гудящий лифт вознес его на тридцать второй этаж Унитарной школы (для мальчиков) Южного Лондона (Ла-Манш), секция четыре. Его ожидал четвертый класс (поток 10) в составе шестидесяти человек. Ему предстояло вести урок современной истории. На задней стенке лифта, полускрытая за громадной тушей учителя рисования по фамилии Джордан, виднелась карта Великобритании, новенькая, последнего школьного выпуска. Большой Лондон, подпертый с юга и с востока морем, еще больше заползал на Северную и Западную провинции: новой его границей с севера стала линия, идущая от Лоустофта к Бирмингему; на западе эта линия тянулась от Бирмингема к Борнмуту. Ходила шутка, что желающим переселиться из провинций в Большой Лондон нет нужды переезжать: достаточно просто подождать. В самих провинциях еще можно было видеть старинное деление на графства, но из-за диаспор, иммиграции и смешения рас старые национальные наименования «Уэльс» и «Шотландия» уже утратили точное значение.

– Надо избавиться либо от одних, либо от других, – говорил Джордану Бек, преподававший математику в младших классах. – Наша проблема всегда была в компромиссе, в либеральном пороке компромисса. Семь септов в гинее, десять шестипенсовиков в кроне, восемь полукрон в соверене. Малолетние бедолаги просто не способны взять это в толк. Мы не можем заставить себя с чем-то расстаться, вот в чем великий грех нашей нации...

Тристрам вышел, оставив старого лысого Бека продолжать свою тираду. Пройдя в классную четвертого класса, он прищурился на своих мальчиков. Майский свет лился из обращенного к морю окна на пустые лица, на пустые стены. Он начал урок.

– Постепенная категоризация двух главных противоборствующих идеологий в свете теологически-мифических концепций.

Тристрам был не слишком хорошим преподавателем: говорил чересчур быстро, употреблял слова, которые ученикам оказывалось трудно записывать, и вообще имел тенденцию мямлить и отвлекаться от темы. Класс послушно старался записывать его слова в тетради.

– Пелагианство, – говорил он, – когда-то считалось ересью. Его даже называли британской ересью. Может мне кто-нибудь назвать другое имя Пелагия?

– Морган, – сказал прыщавый мальчик по фамилии Морган.

– Верно. Оба имени означают «человек из моря».

Мальчишка позади «человека из моря» пронзительно свистнул сквозь зубы и стал тыкать Моргана в спину.

– Перестань! – огрызнулся Морган.

– Да, – продолжал Тристрам. – Пелагий принадлежал к народу, который некогда населял Западную провинцию. Он был – как сказали бы в старые религиозные времена – монахом. Монахом.

Тристрам бодро встал из-за стола и желтым мелом вывел это слово на доске, точно боялся, что ученики не смогут его правильно записать. Потом снова сел.

– Пелагий отрицал доктрину первородного греха и утверждал, что человек способен своими трудами заслужить себе спасение.

Мальчики воззрились на него с полным непониманием.

– Оставим это пока, – смилостивился Тристрам. – Но вам следует запомнить, что учение Пелагия предполагает способность человека к совершенствованию. Тем самым в пелагианстве видели ядро либерализма и выводимых из него доктрин, в особенности социализма и коммунизма. Вы за мной поспеваете?

– Да, сэр, – рывкнули и пискнули шестьдесят ломающихся голосов.

– Хорошо.

Лицо Тристрама имело мягкие черты и было таким же невыразительным, как у его учеников, но глаза за контактными линзами лихорадочно блеснули. В его волосах проглядывала негроидная курчавость, а голубые полумесяцы на ногтях почти скрывали кутикулы. Ему было тридцать пять лет, и вот уже почти четырнадцать он преподавал в школе. Он зарабатывал чуть более двухсот гиней в месяц, но надеялся, что по смерти Ньюика его повысят до главы Департамента общественных наук. Это означало бы существенное прибавление к жалованью, что, в свою очередь, означало бы более просторную квартиру и лучший старт в жизни маленького Роджера. Тут он вспомнил, что Роджер умер.

– Хорошо, – повторил он, как сержант-инструктор на занятии по военной подготовке в эпоху до наступления Вечного Мира. – Августин, с другой стороны, настаивал на имманентной греховности человека и его потребности в искуплении посредством божественной благодати. Считалось, что эта концепция лежит в основе консерватизма и других *laissez-faire*¹ и непрогрессивных политических доктрин. – Он улыбнулся классу. – Противоположный тезис, понимаете? – с подозрением спросил он. – Все на самом деле очень просто.

– Не понял, сэр, – бухнул верзила по фамилии Эбни-Гастингс.

– Видите ли, – дружелюбно отозвался Тристрам, – старые консерваторы ничего хорошего от человека не ждали. Человека рассматривали как по природе своей собственника, стремящегося к накоплению, желающего только приумножать свое имущество, как существо эгоистичное и не склонное к сотрудничеству, которому нет дела до прогресса общества. По сути, грех – лишь синоним эгоизма, джентльмены. Запомните это. – Он подался вперед, въехав рукавами в желтую меловую пыль, покрывавшую стол как песчаные наносы. – Что нам делать с эгоистичным человеком? – спросил он учеников. – Есть предложения?

– Вздуть? – предложил белокожий мальчик по имени Ибрагим ибн-Абдула.

– Нет. – Тристрам покачал головой. – Ни один августинец такого не сделает. Если ожидаешь от человека худшего, то и разочарование тебя не постигнет. Только разочарованные прибегают к насилию. Пессимист, а это еще один синоним августинца, извлекает своего рода мрачное удовлетворение, видя, до чего способен опуститься человек. Чем больше греха он видит вокруг, тем более подтверждается его вера в первородный грех. А все любят, чтобы их фундаментальные воззрения подтверждались: это, пожалуй, самое неизменное человеческое удовольствие.

Тристраму вдруг наскучили избитые разъяснения. Он оглядел сидящих рядами шестьдесят учеников, будто искал какой-нибудь проступок или шалость, которые бы его развлекли, но все сидели смирно и внимательно, послушные-препослушные, точно решили собственным примером подтвердить пелагианское учение. Микрорадио на запястье у Тристрама дважды прогудело. Он поднял его к уху. Жужжание насекомого, точно голос совести, произнесло: «Пожалуйста, по окончании урока зайдите к директору», – крошечные хлопки взрывных звуков. Хорошо. Вот оно! Значит, вот оно! Скоро он займет место бедного покойного Ньюика, а жалованье, возможно, прибавят задним числом. Он даже встал, на манер адвоката смяв пиджак там, где в дни лацканов были бы лацканы. И урок он возобновил с новым жаром:

– В наши дни политические партии отошли в прошлое. Мы признаем, что старая дихотомия существует в нас самих и не требует наивной проекции в виде сект или фракций. Мы и Бог, и дьявол в одном лице, пусть и не одновременно. Таковым может быть только мистер Морда-Гоб, а мистер Морда-Гоб, разумеется, просто вымышленный персонаж.

Тут ученики заулыбались. Они все любили «Приключения мистера Морда-Гоба» в «Космо-комиксе». Мистер Морда-Гоб был лопухим и мокроносым кругленьким демиургом, который, плодovitый, как Шекспир, порождает нежеланную жизнь по всей земле. Перенаселе-

¹ Пассивная позиция (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.

ние было его рук делом. Однако, что бы ни затевал, в какую бы передрагу ни ввязывался, он никогда не выходил победителем: его всегда успевал поставить на место Мистер Гомо, его босс – человек.

– Теология, заложенная в противоположных доктринах пелагианства и августицианства, утратила былое значение. Мы используем эти мифические символы, потому что они удивительно точно соответствуют нашему времени, эпохе, которая все больше полагается на перцепцию, пиктограммы и изображения. Петтмен! – с внезапной радостью крикнул Тристрам. – Вы что-то жуете! Едите на уроке! Так не пойдет, верно?

– Я не ем, сэр, – ответил Петтмен. – Прошу прощения, сэр. – Это был мальчик дравидской внешности, но с выраженными чертами лица краснокожего индейца. – Все дело в зубе, сэр. Мне надо его сосать, сэр, чтобы он перестал болеть, сэр.

– Мальчику вашего возраста иметь зубы не следовало бы, – сказал Тристрам. – Зубы – это атавизм.

Он помолчал. Он часто говорил это Беатрис-Джоанне, у которой были особенно красивые естественные челюсти – и верхняя, и нижняя. На заре их брака она получала удовольствие, покусывая ему мочки ушей. «Перестань, пожалуйста, дорогая. Ох, милая, больно». А потом маленький Роджер. Бедный маленький Роджер. Вздохнув, Тристрам усилием воли продолжил урок.

Глава 3

Беатрис-Джоанна решила, что, невзирая на издерганность, и горе, и странный стук в груди слева, она не хочет успокоительных таблеток из Пункта выдачи. Она вообще ничего больше не хочет от Государственной службы здравоохранения, спасибо большое... Набрав в грудь побольше воздуха, точно собиралась нырнуть, она стала протискиваться через скопление людей, набившихся в огромный вестибюль больницы. Благодаря смеси пигментов и цефалических указателей на стенах, благодаря великому множеству носов и губ этот вестибюль напоминал зал ожидания какого-то чудовищного международного аэропорта. Протолкавшись к лестнице, она немного постояла, упиваясь чистым уличным воздухом. Эра личного транспорта практически закончилась: по забитым пешеходами улицам ползли только государственные фургоны, лимузины и микробусы. Она подняла взгляд вверх. Небоскребы бесчисленными этажами возносились в майское небо, голубое, как утиное яйцо с перламутровой пленкой. Пестрое и обветшалое небо. Пульсирующая голубизной, седая светящаяся высь. Смена времен года – единственный неизменный факт, извечное повторение, цикл. Но в этом современном мире цикл превратился в эмблему статичного, ограниченного шара, тюрьмы. Почти в небе, на высоте по меньшей мере двадцати этажей, на фасаде Института демографии красовался барельефный круг с идущей к нему по касательной прямой. Он символизировал желаемое: победу над проблемой популяции – касательная не тянулась от вечности к вечности, а равнялась длине окружности. Стазис, застой... Баланс глобального населения и глобальных запасов продовольствия. Ее мозг одобрял, но тело – тело осиротевшей матери – кричало: нет... НЕТ! Символы в вышине означали отказ от столь многого; во имя разума совершалось святотатство против жизни. Она чувствовала дыхание моря на левой щеке.

Она свернула на юг, пошла по улицам Большого Лондона, где благородство и головокружительная величавость зданий искупляли вульгарность вывесок и лозунгов. «Златосияющий Солнечный Сироп». «Национальное Стереотелевидение». «Синтеглотка». Она протискивалась в столпотворении, ведь людской поток двигался на север. Тут она заметила, что толпа сегодня чуть однороднее обычного, что по большей части тут мужчины и женщины в серой форме полиции – многие из них неуклюжи, точно недавно рекрутированы. В конце улицы видением здравости души и тела поблескивало море. Это был Брайтон, административный центр Лондона, – будто прибрежную полосу можно называть центром! Насколько позволял движущийся на север людской поток, Беатрис-Джоанна пробиралась к прохладе зеленой воды. Отрывающийся из узкого и давящего каменного ущелья вид вечно сулил нормальность, простор свободы, но сам выход к морю всегда приносил разочарование. Каждые пятьсот ярдов или около того возникал рвущийся к Франции крепкий пирс, застроенный кубами офисов или ульями многоквартирных домов. Но чистое соленое дыхание оставалось неизменным, и Беатрис-Джоанна жадно его впитывала. Ее не оставляло интуитивное убеждение, что если Бог существует, то обитает он в море. Море сулило жизнь, шептало или кричало о плодородности; его голос никогда нельзя было заглушить совершенно. «Ах если бы только, – с безумным отчаянием подумала она! – тело маленького Роджера бросить в эти тигровые воды, если бы его унесло, чтобы его глодали рыбы, а не превратили бездушно в химикаты и не скормили бы безмолвно земле!» Ее преследовала ужасная мысль, что земля умирает, что море скоро станет последним прибежищем жизни. «Ты, о море, – бред, лишенный меры, хитон дырявый на спине пантеры весь в идолах солнцеподобных...»² – прочла она когда-то в переводе с какого-то второстепенного европейского языка. Гидра, что пьянеет, пожирая свой собственный, свой ярко-синий хвост...

² Из стихотворения Поля Валери «Кладбище у моря». Пер. с фр. Е. Витковского.

– Море, – тихонько сказала она, поскольку набережная была также запружена людьми, как и улица, с которой она только что вышла. – Помоги нам, море. Мы больны, о море! Верни нам здоровье, верни нас к жизни!

– Прошу прощения? – спросил пожилой англосакс, подтянутый, краснощекий, с подагрическими пятнами, седоусый: в милитаристскую эпоху его тут же сочли бы отставным полковником. – Вы ко мне обращались...

– Извините.

Покраснев под слоем белой как кость пудры, Беатрис-Джоанна поспешила прочь, инстинктивно свернув на восток. Ее взгляд невольно потянулся к огромной бронзовой статуе, которая гордо бросала вызов небесам с головокружительной высоты шпиля здания Правительства: фигура бородатого мужчины в античной тоге гневно взирала на солнце. Ночью ее подсвечивали прожекторы. Путеводная звезда кораблям, человек из моря, Пелагий. Но Беатрис-Джоанна помнила то время, когда его называли Августиним. И, как поговаривали, в иные времена он был королем, премьер-министром, популярным бородатым гитаристом, поэтом Элиотом (давно покойным певцом бесплодия), министром рыбоводства, капитаном команды мужской священной игры и – наиболее часто и удовлетворительно – великим неизвестным волшебником Анонимом.

Рядом со зданием Правительства, бесстыдно выходя фасадом на плодovitое море, притулилась более приземистая скромная постройка высотой всего в двадцать пять этажей – Министерство бесплодия. Над портиком министерства красовался неизбежный круг с целомудренно целующей его касательной, а еще большой барельеф обнаженной бесполой фигуры, разламывающей яйцо. Беатрис-Джоанна решила, какая разница, можно и сейчас забрать свои (так цинично названные) утешительные. Это даст ей повод войти в здание, повод задержаться в вестибюле. Возможно, она увидит его, когда он будет уходить с работы. Она знала, что на этой неделе он работает в А-смену. Прежде чем пересечь променады, она посмотрела на деловитые толпы почти новыми глазами, – возможно, глазами моря. Это был британский народ, а точнее, народ, населяющий Британские острова, поскольку тут преобладали евроазиаты, евроафриканцы и европолинезийцы. Солнечные блики ложились на кожу всевозможных оттенков: сливового, золотистого и даже красновато-коричневого, – ее собственный английский персиковый, замаскированный белой мукой, встречался все реже. Этнические различия утратили свою значимость, и мир разделился на языковые группы. Может, подумала она вдруг с почти пророческим пылом, это ей и немногим бесспорным англосаксам вроде нее выпало вернуть достоинство и душевное здоровье этому миру-полукровке? Ей смутно помнилось, что ее раса уже сделала это однажды.

Глава 4

– Важное достижение англосаксонской расы, – говорил Тристрам, – парламентское правительство, которое со временем стало означать многопартийную систему. Позднее, когда пришли к выводу, что деятельность правительства можно осуществлять эффективнее без дебатов и оппозиции, какую подразумевает многопартийное правительство, постепенно было распознано значение сущности цикла.

Подойдя к синей доске, он желтым мелом нарисовал большой кривоватый круг.

– Вот как, – продолжал он, механически, как на шарнире, поворачивая голову посмотреть на учеников, – работает цикл.

Он разделил круг на три дуги.

– У нас Пелагианская фаза. Затем наступает Промежуточная фаза.

Мел вторично обвел сперва одну дугу, потом другую.

– Это ведет к Августинианской фазе.

Опять утолщение, и мел вернулся к исходной точке.

– Пелфаза, Промфаза, Авфаза, Пелфаза, Промфаза, Авфаза и так далее и так далее до бесконечности. Своего рода вечный вальс. Теперь следует рассмотреть, как мотивирующая сила приводит колесо в движение.

Он с серьезным видом повернулся к классу, похлопывая одной ладонью по другой, чтобы отряхнуть мел.

– Прежде всего давайте вспомним, что воплощает собой пелагианство. Правительство, функционирующее в своей Пелагианской фазе, всецело поддерживает тезис, что человек способен к совершенствованию, что совершенства он может достичь собственными усилиями и что путь к совершенству абсолютно прям. Человек хочет быть совершенным. Он хочет быть хорошим и добрым. Граждане хотят сотрудничать со своими правителями на благо общества, поэтому нет необходимости в мерах принуждения или в санкциях, которые заставили бы их сотрудничать. Разумеется, законы необходимы, поскольку ни один отдельный индивид, сколь бы хорошим и готовым к сотрудничеству он ни был, не может иметь точных знаний о потребностях общества в их полном объеме. Законы указывают путь к нарождающейся структуре социального совершенства и играют роль наставлений и руководства. Но вследствие основополагающего тезиса, согласно которому граждане желают вести себя не как эгоистичные дикие звери, а как сознательные члены общества, предполагается, что законы будут исполняться. Тем самым пелагианское государство не видит необходимости создавать сложный пенитенциарный аппарат. Нарушь закон, и тебе скажут никогда больше так не делать либо выпишут штраф в несколько крон. Неповиновение не порождено первородным грехом, оно не является неотъемлемой частью человеческой природы. Это лишь изъяз, нечто, что будет отброшено на пути к конечному совершенству человечества. Вам ясно?

Многие ученики закивали, хотя им уже давно было не до того, понимают они или нет.

– Ну так вот, в Пелагианской фазе, или Пелфазе, великая либеральная мечта как будто способна осуществиться. Греховная жажда накопительства отсутствует, животные желания находятся под контролем разума. Например, частнику-капиталисту, воплощению алчности в цилиндре, нет места в пелагианском обществе. Соответственно, Государство контролирует средства производства, Государство – единственный босс. Но воля Государства есть воля граждан, а потому гражданин работает на самого себя. Более счастливой формы государственного устройства невозможно вообразить. Однако помните, – сказал Тристрам театральным полупешотом, – помните, что устремления всегда опережают реальность. Что разрушает мечту? Что ее уничтожает, а? – Он внезапно ударил кулаком по столу, выкрикнув крещендо: – Разочарование! Разочарование! РАЗОЧАРОВАНИЕ!!! Власти предрежащие, – уже разумным тоном

продолжил он, – разочаровываются, обнаружив, что люди не так хороши, как они полагали. Предаваясь мечтам о совершенстве, они приходят в ужас, когда ломаются печати и люди предстают такими, какие они есть на самом деле. Возникает необходимость постараться принудить людей к добродетели. Законы пересматриваются в сторону ужесточения. Наспех создается система насильственного внедрения этих законов. Разочарование прокладывает дорогу хаосу. В мир вторгается иррациональное, вторгается паника. Когда отступает разум, его место заступает животная жестокость. Зверства! – выкрикнул Тристрам.

Тут класс наконец заинтересовался.

– Избиения. Тайная полиция. Попытки в залитых ярким светом подвалах. Приговоры без суда. Вырванные клещами ногти. Дыба. Обливание холодной водой. Выдавливание глаз. Расстрельные команды холодным рассветом. И причиной всему – разочарование. Это и есть Промфаза.

Он отечески, очень по-доброму улыбнулся своему классу. Его класс, затаив дыхание, ждал новых зверств. Глаза сверкали, рты приоткрылись.

– Что такое обливание холодной водой, сэр? – спросил Беллингхэм.

Глава 5

Беатрис-Джоанна, оставив позади дарующую жизнь прохладную воду, ступила в разверстую пасть министерства – пахло из этой пасти так, словно ее основательно прополоскали дезинфицирующим средством. Она протолкалась к офису, над которым красовалась вывеска «УТЕШИТЕЛЬНЫЕ». У стойки собралось довольно много безутешных матерей; некоторые (болтавшие с оттенком легкомыслия), в выходных платьях, сжимали свидетельства о смерти как пропуска в лучшую жизнь. Пахло дешевым спиртным (алком, как его называли), и Беатрис-Джоанна увидела грубую шершавую кожу и мутные глаза закоренелых алкоголичек. Дни рабства у утюга завершились; Государство поощряло детоубийство.

– Вроде как задохнулся в простынях. А ведь было-то ему ровнехонько три недельки.

– А мой обварился. Прямо на себя чайник вывернул. – Женщина улыбнулась со своего рода гордостью, словно ребенок совершил подвиг разума.

– Из окна выпал, правда-правда. Заигрался.

– Деньги не помешают.

– О да, этого у них не отнять.

Красивая нигерийка забрала у Беатрис-Джоанны свидетельство о смерти и отошла с ним к центральной кассе.

– Благослови вас Боже, мисс, – сказала карга, чей детородный возраст, судя по виду, давно миновал. И повторила, складывая выданные евроафриканкой банкноты: – Благослови вас Бог, мисс.

Неуклюже пересчитав монеты, она счастливо заковыляла прочь. Служащая улыбнулась старомодной фразе: Бога теперь нечасто поминали.

– Вот, пожалуйста, миссис Фокс. – Красивая нигерийка вернулась. – Шесть гиней три септа.

Как была вычислена эта сумма, Беатрис-Джоанна не спросила. С краской вины, которую не могла бы объяснить, она торопливо смахнула деньги в сумочку. Трехшиллинговая монета, называемая септой, трояко поблескивала из кошелька: король Карл VI тройняшками насмешливо улыбался слева. Король и королева были не подвластны тем же законам воспроизводства, что и простые смертные: в прошлом месяце погибли три принцессы, все в одной авиакатастрофе, и требовалось упрочить престолонаследие.

«Больше не надо!» – гласил плакат на стене. Беатрис-Джоанна сердито протолкалась прочь. Здесь, в вестибюле, она почувствовала себя отчаянно одинокой. Сотрудники в белых халатах деловито и бодро – точно сперматозоиды – спешили в Департамент исследований. Лифты сновали вверх-вниз между многочисленными этажами Департамента пропаганды. Беатрис-Джоанна ждала. Кругом мужчины и полумужчины щебетали и отпускали трели. Потом она увидела, как и надеялась именно в этот час, своего деверя Дерека, тайного любовника, который с портфелем под мышкой, сверкая кольцами, оживленно втолковывал что-то щеголеватому коллеге, загибая на каждом аргументе пальцы в искорках драгоценностей. При виде столь абсолютной маскировки под ортодоксальное гомосексуальное поведение (вторичные или социальные аспекты) она не смогла до конца подавить червячок презрения, зародившийся в ее чреве. До нее доносилась подчеркнутая картавость фраз, в его движениях сквозила грациозность танцовщика. Никто, никто, кроме нее, не знал, что за сатир скрывался под личиной бесполости. Как поговаривали многие, ему светил очень и очень высокий пост в иерархии Министерства. Если бы только, с внезапной злостью подумала она, его коллеги знали, если бы только его начальство знало! Она могла бы его уничтожить, если бы захотела. Могла бы? Конечно, не могла бы. Дерек не из тех, кто позволит себя уничтожить.

Она стояла, ждала, сложив перед собой руки. Дерек Фокс попрощался с коллегой («Ах, такое прекрасное, чудесное предложение. Обещаю, завтра мы его обязательно обсосем») и с благословляющей игривостью трижды хлопнул его по левой ягодице. Потом он увидел Беатрис-Джоанну и, настороженно оглянувшись по сторонам, подошел к ней. По его глазам ничего нельзя было прочесть.

– Привет, – сказал он, сочась благоволением. – Что нового?

– Он умер сегодня утром. Теперь он... – Она совладала с собой. – Теперь он в руках Министерства сельского хозяйства.

– Бедная моя. – Это было произнесено тоном любовника, мужчины, обращающегося к женщине. Он снова воровато оглянулся по сторонам, потом шепнул: – Лучше, чтобы нас не видели вместе. Можно мне прийти?

Помешкав, она кивнула.

– Когда сегодня вернется мой дорогой брат? – спросил он.

– Не раньше семи.

– Я побегу. Мне надо быть осторожным. – Он жеманно улыбнулся проходящему мимо коллеге, мужчине с кудряшками, как у Дизраэли. – Что-то странное творится, – сказал он. – Думаю, за мной следят.

– Ты всегда осторожен, правда ведь? – спросила она довольно громко. – Всегда чертовски осторожен.

– Да говори же тише, – зашептал он. – Смотри, – добавил он чуть возбужденно, – видишь вон того мужчину?

– Которого? – Вестибюль был переполнен мужчинами.

– Низенького, с усами. Видишь его? Это Лузли. Уверен, он за мной наблюдает.

Беатрис-Джоанна увидела того, о ком он говорил: низенького, одинокого с виду человека, поднесшего руку к уху, точно проверяя, идут ли его часы, а на самом деле слушающего микрорадио, который стоял в сторонке, на краю толпы.

– Иди домой, милая, – сказал Дерек. – Я примерно через час загляну.

– Скажи, – приказала Беатрис-Джоанна. – Скажи это, перед тем как я уйду.

– Люблю тебя, – одними губами произнес он, словно через стекло.

Грязные слова из уст мужчины к женщине в этом храме антилюбви. Его лицо скривилось, точно он разжевал квасцы.

Глава 6

– Но, – продолжал Тристрам, – Промфаза, разумеется, не может длиться вечно. – Он скривил лицо, изображая шок. – Шок! – объяснил он. – Рано или поздно правителей шокируют их собственные эксцессы. Они обнаруживают, что мыслят подобно еретикам, исходя не из врожденной добродетельности человека, а его греховности. Они ослабляют санкции, и результатом становится полный хаос. Но к тому времени разочарование уже не может проникнуть глубже и достигает своего предела. Разочарование уже не способно толкнуть Государство на репрессивные действия, и воцаряется своего рода философский пессимизм. Иными словами, мы скатываемся к Августинской фазе, к Авфазе. Теперь ортодоксальная доктрина представляет человека греховным существом, от которого не следует ожидать ничего хорошего. Иная мечта, джентльмены, мечта, которая опять же превосходит реальность. Со временем начинает казаться, что социальное поведение человека на самом деле несколько лучше, чем по праву может ожидать августинский пессимист, и потому возникают зачатки своего рода оптимизма. И так понемногу возвращается пелагианство. Мы снова в Пелфазе. Колесо совершило полный оборот. Есть вопросы?

– А чем выкалывают глаза, сэр? – спросил Билли Чан.

Взвизгнули звонки, зазвякали гонги, искусственный голос выкрикнул через динамики:

– Перейти, перейти! Всем, всем перейти! Пятьдесят секунд, чтобы перейти. Обратный отсчет пошел: пятьдесят, сорок девять, сорок восемь...

Тристрам одними губами произнес слова, распускаявшие класс, но оставшиеся неслышанными за общим гамом, и вышел в коридор. Мальчики побежали на занятия по конкретной музыке, астрофизике и языку управления. Обратный отсчет ритмично продолжался под стать стихотворному размеру:

– Тридцать девять, тридцать восемь...

Подойдя к лифту для учителей, Тристрам нажал кнопку. Огоньки показывали, что кабина уже спускается с верхнего этажа (там залы с огромными окнами для уроков рисования; вечный торопыга, учитель рисования, как всегда, распустил класс пораньше и сам ушел). «43-42-41-40...»-ной посверкивало на панели.

– Девятнадцать – восемнадцать – семнадцать...

Амфибрахий обратного отсчета сменился трохеем. Кабина лифта остановилась, и Тристрам вошел. Джордан рассказывал своему коллеге Мубрейю о новых течениях в живописи, имена Звенинтой, Абрахамс, Ф. Э. Чил сдавались как пустые карты.

– Плазматический ассонанс, – вещал Джордан. – Кое в чем мир несколько не изменился.

– Три – два – один – ноль.

Голос умолк, но на каждом этаже (18-17-16-15), какой представал перед Тристрамом, мальчики еще не вошли в свои новые классы, кое-кто даже не спешил. Пелфаза. Никто не пытался внедрить правила. Работа делалась. Более-менее. 4-3-2-1. Нижний этаж. Тристрам вышел из лифта.

Глава 7

Беатрис-Джоанна вошла в лифт небоскреба Сперджин-билдинг на Росситер-авеню. 1-2-3-4. Она поднималась на сороковой этаж, где ее ждала крошечная квартира, пустая без ребенка. Через полчаса или около того придет Дерек, в утешении объятий которого она отчаянно нуждалась. Неужели Тристрам не способен оказать ту же услугу? Нет, это было не одно и то же. Плоть жила собственной странной логикой. Было время, когда прикосновение Тристрама ей было приятно, возбуждало, приводило в экстаз. Это давно прошло – прошло, если быть точной, вскоре после рождения Роджера, словно единственным назначением Тристрама было его зачать. Любовь... Беатрис-Джоанна думала, что все еще любит Тристрама. Он был добрым, честным, мягким, щедрым, заботливым, спокойным, иногда остроумным. Но любила она Тристрама в гостиной, а не Тристрама в спальне. Любит ли она Дерек? Пока она не могла ответить на этот вопрос. 26-27-28. Ей казалось странным, что у братьев одна и та же плоть. Но у Тристрама она превратилась в падаль, а у его старшего брата была огнем и льдом, райским плодом, невыразимо вкусным и возбуждающим. Она решила, что все-таки влюблена в Дерек, однако его не любит. 30-31-32. А любит она Тристрама, но не влюблена в него. Как и сегодня, так и в отдаленном будущем, женщина умудрялась руководствоваться (как это было вначале) инстинктами (как сейчас), шалящими нервами и (как будет всегда) внутренними органами (мир без конца). 39-40. (Аминь.)

Беатрис-Джоанна храбро повернула ключ в двери квартирки. Встретил ее привычный запах «Антиафродизиака» (освежителя воздуха, разработанного химиками Министерства, где трудился ее возлюбленный, который подавался по всему жилому блоку по трубам от генератора в подвале) и гудение холодильника. Пусть сравнивать ей было не с чем, ее всегда поражала ничтожность жилого пространства (стандартного для людей их с мужем группы доходов): жилой блок состоял из гостиной, спальни, гробика-кухни и ванной, в которую втискиваться приходилось почти как в платье. За два больших шага она могла бы пересечь гостиную, да и их сделать можно было лишь потому, что вся мебель пряталась в стенах и потолке, откуда ее по необходимости доставали прикосновением к выключателю. Беатрис-Джоанна нажала рычажок кресла, и неохотно возник угловатый некрасивый предмет для сидения. Она устала, а потому со вздохом села. «Ежедневный новостной диск» плоским черным солнцем еще светился в настенном крепеже. Нажатие кнопки, и материализовался искусственный голос – бесполой, невыразительный:

– Забастовка на заводе «Нэшнл синтелак». Призывы вернуться на рабочие места остались без ответа. Зачинщики забастовки не желают идти на компромисс в своих требованиях повышения минимальной оплаты на одну крону три шестипенсовика в день. В знак солидарности с забастовщиками докеры Саутгемптона отказываются пропускать импортированный синтелак.

Беатрис-Джоанна передвинула иглу на «Женский канал». Не искусственный на сей раз, а самый настоящий женский голос – пронзительный от едкого энтузиазма, – вещал о дальнейшем сокращении линии бюста. Беатрис-Джоанна отключила новости. Нервы у нее еще пошаливали, затылок ломило как от мерных ударов молота. Сняв одежду, она помылась в тазике, называемом ванной. Присыпав тело простой белой пудрой без запаха, она надела халат, спряденный из какого-то длинноцепочечного синтетического полимерамида. Потом подошла к панели кнопок и переключателей в стене и велела металлическим рукам осторожно опустить из ниши в потолке пластмассовый буфет. Открыв буфет, она вытрясла из коричневого пузырька две таблетки. Запив их водой из бумажного стаканчика, она бросила стаканчик в дыру в стене. Тем самым он отправился в дальний путь, конечной точкой которого была топка в подвале. После она стала ждать.

Дерек опаздывал. Она начала терять терпение. Нервы у нее все еще гудели струнами цитры, в голове стучало. Ей начали чудиться смерть, погибель и горе. Собрав остатки здравого смысла, точно какого-то чужеродного ограничителя, она стала уговаривать себя: мол, дурные предчувствия просто следствия событий, которые уже ушли в прошлое и которые уже не вернуть. Проглотив еще две таблетки, она отправила еще один стаканчик на огненное уничтожение. Потом наконец в дверь постучали.

Глава 8

Тристрам постучал в дверь учебной части и, назвавшись, сказал, что директор хотел его видеть. Были нажаты клавиши, на притолоках замигали лампочки, и Тристраму предложили войти.

– Входите, Братец Лис, входите! – воскликнул Джоселин, в который раз напоминая, что означает на английском слово «фокс».

Он и сам немного походил на лиса, но никак не на францисканца³. Он был лыс, страдал тиком и имел довольно высокую степень университета Пасадены. Сам он был родом из Саттона, Западная Виргиния. Будучи одновременно хитрым и скромным, он особо не распространялся, что состоял в близком родстве с верховным комиссаром по делам Северо-Американских территорий. Тем не менее свой пост директора школы он приобрел благодаря собственным заслугам. Благодаря им и безупречной асексуальности.

– Садитесь, Братец Лис, – пригласил Джоселин. – Садитесь, не чинясь. Примите кофеинчик. – Он гостеприимно указал на блюдечко с таблетками кофеина возле письменного прибора. Тристрам с улыбкой покачал головой.

– Бодрит, знаете ли, когда совсем приспичит, – сказал Джоселин, беря две.

Потом он сел за свой стол. Морской послепопуденный свет лег на длинный нос, сизую челюсть, крупные и подвижные губы, преждевременные морщины.

– Я записывал ваш урок, – начал он, кивнув сперва на панель переключателей на белой стене, потом на динамик в потолке. – По-вашему, дети многое усваивают?

– Им и не полагается усваивать, – отозвался Тристрам. – Достаточно, чтобы они получили общее впечатление, сами понимаете. Это есть в учебном плане, но на экзамены не попадает.

– Ну да, ну да, наверное, так.

Джоселина тема не слишком интересовала, он водил пальцами по папке в сером переплете – по личному делу Тристрама. Тристрам прочитал вверх ногами «ФОКС» на обложке.

– Бедный старый Ньюик, – сказал Джоселин. – Он был очень даже неплох. А теперь он пентоксид фосфора где-то в Западной провинции. Но, думаю, его дух взаправду еще жив, – неопределенно пробормотал он, а потом быстренько добавил: – Я имел в виду тут, в школе.

– Да-да, конечно. В школе.

– Ага. Так вот, все шло к тому, что вы займете его место. Я сегодня читал ваше дело...

«Шло к тому». Тристрам сглотнул неприятную пилюлю неожиданности. «Шло». Он сказал «шло»... в прошедшем времени.

– Целая книга. Вижу, вы хорошо у нас потрудились. И вы старший по возрасту в Департаменте. Вам следовало бы просто заступить на место.

Он откинулся назад, сложив вместе кончики больших пальцев, следом сошлись кончики мизинцев, безымянных, средних, указательных. И все это время он подергивался от тика.

– Вы же понимаете, – сказал он, – что не в моей власти решать, кто займет освободившуюся вакансию. Решает попечительский совет. Я могу только рекомендовать. Ну да, рекомендовать. Так вот, знаю, это прозвучит безумно, но в наши дни решающий фактор далеко не квалификация. Да-да. Неважно, сколько у вас степеней, какой опыт или как умело вы выполняете свою работу. Дело – и я употребляю этот термин в самом широком его смысле – в семейном положении. Вот так.

– Но, – начал Тристрам, – моя семья...

Джоселин поднял руку, точно останавливал поток уличного движения.

³ Основатель ордена францисканцев святой Франциск Ассизский почитается как покровитель животных, как домашних, так и диких; Братец Лис – персонаж «Сказок дядюшки Римуса» Харриса Джозеля Чандлера.

– Я не имел в виду, какую карьеру сделали члены вашей семьи, – возразил он. – Речь о том, сколько их вообще. Или было. – Он опять начал подергиваться. – Дело не в евгенике или социальном статусе, а в арифметике. Так вот, Братец Лис, нам обоим ясно, что это полный абсурд. Но таково положение вещей. – Его правая рука вдруг вспорхнула, зависла, потом упала на стол как пресс-папье. – Записи (он произнес это как «вхаписи») гласят... Вот тут... Согласно записям вы происходите из семьи из четырех человек. У вас есть сестра в Китае (она в Глобальном исследовании демографического положения, верно?) и брат – не где-нибудь, а в Спрингфилде, штат Огайо. А потом еще, разумеется, Дерек Фокс, гей и на высоком посту. Идем дальше, Братец Лис: вы женаты, и у вас есть один ребенок.

Он грустно посмотрел на Тристрама.

– Уже нет. Сегодня утром он умер в больнице.

Нижняя губа Тристрама выпятилась, задрожала.

– Умер, а? М-да. – Утешения в нынешние времена были чисто финансового порядка. – Маленький был, а? Очень маленький. Пентоксида фосфора с него не много. М-да, но в вашем положении его смерть ничего не меняет.

Джоселин крепко сжал крупные ладони, словно собирался молитвой устранить факт Тристрамова отцовства.

– Одни роды на семью. А что там родится: живой младенец, или мертвый, или даже несколько зараз – один, двойня, даже тройня, – значения не имеет. Разницы нет. Так вот, – продолжал он, – вы закон не нарушали. Вы не сделали ничего, чего теоретически не должны были бы. Вы имеете право жениться, если желаете, вы имеете право на одни роды в семье, хотя, разумеется, лучшие из нас так не поступают. Просто не поступают.

– Проклятье! – вырвалось у Тристрама. – Да пропади пропадом эти условности! Кто-то же должен поддерживать популяцию! Вообще никакого человечества не осталось бы, если бы кое-кто не заводил детей. – Он рассердился. – И что вы имеете в виду под этими «лучшие из нас»? Такие, как мой брат Дерек? Этот одержимый властью гомик, который заползает, да, буквально заползает в каждую...

– Calmo, – произнес Джоселин, – calmo⁴. – Он только что вернулся с образовательной конференции в Риме, беспапском городе. – Вы собирались сказать какую-то гадость или даже выбраться. «Гомик» – уничижительное словечко. Не забывайте, геи практически управляют этой страной, если уж на то пошло, всем Англоговорящим Союзом. – Он насупился и глянул на Тристрама с лисоватой печалью. – Мой дядя, верховный комиссар, – гей. Я сам когда-то едва не стал геем. Давайте обойдемся без эмоций. Это неподобающе, ну да, так и есть, неподобающе. Давайте попробуем parlare⁵ об этом calmamente⁶, а? – Он улыбнулся, стараясь, чтобы улыбка вышла безыскусной. – Вам не хуже моего известно, что воспроизведение лучше представить низшим классам. Вспомните, сам термин «пролетариат» происходит от латинского «proletarius», что означает «те, кто служит государству своими отпрысками, или proles». Нам с вами ведь полагается быть выше этого, так?

Он основа откинулся на спинку кресла, улыбаясь, выстукивая по столу чернильным карандашом – по каким-то причинам букву «о» азбукой Морзе.

– Одни роды на семью – таково правило, или рекомендация, или как там вам хочется это называть, – но пролетариат то и дело его нарушает. Расе не грозит вымирание. Я бы сказал, как раз обратное. До меня дошли слухи с самого верха, ну да неважно, неважно... Факт в том, что ваши родитель и родительница это правило нарушили, очень и очень сильно нарушили, даже прескверно нарушили. Да, прескверно, лучше не скажешь. М-да. Кем был ваш родитель?

⁴ Тихо (ит.).

⁵ Говорить (ит.).

⁶ Спокойно (ит.).

Служил в Министерстве сельского хозяйства, верно? Согласно вашему личному делу так и есть. Ну, я бы сказал, довольно цинично наращивать национальные запасы продовольствия, с одной стороны, и заводить четырех детей – с другой. – В этом Джоселин явно увидел довольно гротескную антитезу, но от нее отмахнулся. – И про это не забыли, знаете ли, Братец Лис, не забыли. Грехи отцов, как любили говаривать.

– Мы все когда-нибудь поможем Министерству сельского хозяйства, – надулся Тристрам. – Внушительная доза пентоксида фосфора из нас четверых получится.

– И ваша жена тоже, – продолжил Джоселин, шуриша многочисленными страницами в личном деле. – У нее сестра в Северной провинции. Замужем за сельскохозяйственным служащим. Там двое детей. – Он поцокал языком. – Да вас аура плодovitости окружает, Братец Лис! Так или иначе, что до поста главы департамента, то вполне очевидно, что при прочих равных попечительский совет выберет кандидата с более чистым семейным списком.

Произнес он это «вхписком», и раздражение Тристрама сосредоточилось на коверканье слов.

– Давайте посмотрим. Давайте рассмотрим других кандидатов. – Опершись локтями о стол, Джоселин подался вперед и стал загибать пальцы. – Уилтшир – гей. Краттенден – холостяк. Коуэл женат, один ребенок, поэтому его не считаем. Крум-Юинг пошел до конца, он – *castrato*⁷ – довольно сильный кандидат. Фиддъен – просто пустое место. Ральф – гей...

– Ладно, – согласился Тристрам. – Принимаю мой приговор. Я останусь в дураках и буду смотреть, как в обход меня повышают кого-то помладше... Это неминуемо будет кто-то помладше, так всегда бывает... И все из-за моих «вхаписей», – горько добавил он.

– Вот именно, – подытожил Джоселин. – Рад, что вы так это восприняли. Сами знаете, как большие шишки на это посмотрят. «Наследственность» – вот ключевое слово; «наследственность». Семейная история предумышленной плодovitости, вот что скажут наверху. Именно-именно. Как наследственная склонность к преступлениям. Ситуация сейчас очень шаткая... По секрету скажу, Братец, будьте настороже. И за женой присмотрите. Ни в коем случае не заводите еще детей. Не допускайте безответственности, не уподобляйтесь пролетариату. Один подобный неверный шаг, и очутитесь за бортом. Вот-вот, за бортом. – Он провел себе ребром ладони по горлу. – Множество перспективных молодых людей на подходе. Людей с правильными умонастроениями. Мне бы не хотелось вас терять, Братец Лис.

⁷ Кастрат (*ит.*).

Глава 9

– Дражайшая!

– Любимый, любимый, любимый!

Они жадно обнялись, даже не закрыв дверь.

– Юм-юм-юм-юм-юм-юм-юм!

Выпутавшись, Дерек пинком ее захлопнул.

– Надо быть осторожнее, – заметил он. – С Лузли станется и сюда за мной притащиться.

– И какая в том беда? – спросила Беатрис-Джоанна. – Ты ведь можешь навестить брата, если захочешь, верно?

– Не будь дурочкой. Лузли дотошный, этого у гаденыша не отнимешь. Он, скорее всего, разузнал, в какие часы у Тристрама смена.

Дерек отошел к окну и тут же вернулся, улыбаясь собственной глупости: на такой высоте... внизу столько неразличимых муравьев, копошащихся в глубоком ущелье улицы...

– Возможно, я становлюсь чуточку нервным, – признался он. – Только дело в том... разное происходит... Сегодня вечером я встречаюсь с министром. Похоже, у меня будет новая работа.

– Какого рода работа?

– Работа, которая, боюсь, означает, что мы будем меньше видаться. Во всяком случае какое-то время. Работа при мундире. Сегодня приходили портные снимать мерки. Большие дела творятся!

Дерек сбросил свою публичную кожу бесполого денди и сделался мужчиной, жестким и крепким.

– Вот как? – переспросила Беатрис-Джоанна. – Ты получишь работу, которая будет важнее встреч со мной, так?

Когда он вошел и ее обнял, на одно безумное мгновение она вдруг подумала, что они убегут вместе, станут до конца своих дней питаться кокосами и заниматься любовью под пальмами. Но потом взяло верх женское желание получить лучшее от двух миров.

– Иногда я спрашиваю себя, – сказала она, – действительно ли ты думаешь, что говоришь. Про любовь и так далее.

– Ах, милая, – нетерпеливо отозвался он. – Только послушай. – Он был не в настроении болтать попусту. – Происходят события, которые гораздо важнее любви. Решаются вопросы жизни и смерти.

Совсем по-мужски.

– Глупости, – подсказала она.

– Чистки, если ты знаешь, что это такое. Перемены в Правительстве. Безработных рекрутируют в полицию. М-да, серьезные, очень серьезные перемены.

Беатрис-Джоанна стала демонстративно всхлипывать, разыгрывая беззащитность, слабость.

– Такой ужасный был день! – воскликнула она. – Я была так несчастна. Мне было так одиноко.

– Дражайшая! Какая же я скотина! – Он снова ее обнял. – Мне так жаль. Мне очень жаль. Я думаю только о себе.

Удовлетворенная, она продолжала всхлипывать. Он поцеловал ее в щеку, в шею, в лоб, коснулся губами волос цвета сидра. От нее пахло мылом, от него – всеми ароматами Аравии. Обнявшись, они неловко, словно в каком-то не упорядоченном музыкой танце, добрались до спальни. Рычаг, который по дуге (очень похожей на ту, которой Тристрам очертил Пелфазу) опуская кровать на пол, давно уже был нажат. Дерек быстро разделся, обнажив худощавое тело

с узлами и буграми мышц, а потом мертвый глаз телевизора на потолке смог посмотреть, как ерзает мужское тело (темное, как запеченный сухарь, но с налетом красноватого) и женское (перламутровое, тонко подернутое голубым и карминовым) во вступлении к акту, который был одновременно и адюльтером, и инцестом.

– Ты не забыла? – тяжело спросил Дерек.

Теперь уже не существовало никакого идеального наблюдателя, который мог бы подумать про миссис Шенди и, подумав про нее, усмехнуться⁸.

– Да, да!

Она приняла таблетки, все было совершенно безопасно. Только когда точка невозврата была достигнута, она вспомнила, что принятые ею таблетки были обезболивающими, а не противозачаточными. Рутину все-таки иногда подводит. А потом уже было слишком поздно и ей стало наплевать.

⁸ Аллюзия на роман Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», герой которого обязан своим появлением на свет тому, что его матушка в самый неподходящий момент спросила мужа, не забыл ли он завести часы.

Глава 10

– Продолжайте, – сказал Тристрам, хмурясь, что было для него нетипично. – Дальше читайте сами.

Седьмой поток четвертого класса уставился на него, разинув глаза и рты.

– Я уйду домой, – заявил он. – На сегодня с меня хватит. Завтра будет контрольная работа по материалу со страниц двести шестьдесят семь – двести семьдесят четыре включительно вашего учебника. Хроническая ядерная угроза и наступление Вечного Мира. Данлоп! – рявкнул он вдруг. – Данлоп!

У мальчишки была черная, как каучук, физиономия, но в эпоху тотальной национализации его фамилия не казалась ни уместной, ни неуместной.

– Ковыряние в носу неприглядная привычка, Данлоп.

Класс захихикал.

– Продолжайте, – повторил Тристрам от двери, – и очень доброго вам дня. Или раннего вечера, – поправился он, глянув на розоватое небо над морем.

Как странно, что в английском языке так и не придумали слов прощания, подходящих для этого времени суток... Своего рода Промфаза. Пелагианский день, августинская ночь.

Тристрам храбро вышел из классной комнаты, прошел по коридору к лифту, а затем поспешил вниз, прочь из гигантского здания. Никто не препятствовал его уходу: учителя просто не бросали классы до финального колокола, – и следовательно, Тристрам в каком-то метафизическом смысле все еще находился на работе.

Он уверенно плыл поперек движения, рассекал толпы на Ирп-роуд (приливные волны накатывали со всех сторон разом), и на перекрестке свернул налево, на Даллас-стрит. И тут, как раз поворачивая на Макгиббон-авеню, увидел нечто, от чего похолодел без видимой или объяснимой на то причины. Посреди дороги, блокируя редкое движение, рассматриваемая прохожими, которые держались на порядочном расстоянии, стояла рота мужчин в серых мундирах полиции – три взвода с сержантами. Большинство полицейских неловко улыбались, переминались с ноги на ногу – новобранцы, догадался Тристрам, новые рекруты, но каждый уже вооружен коротким и толстым, тускло поблескивающим карабином. Книзу их штаны сужались и заканчивались черными эластичными манжетами, обжимавшими верхушку сапог на толстой подошве; приталенные кители казались странно архаичными из-за воротников, на которых поблескивали медью нашивки. И, точно этого было мало, на всех красовались черные галстуки. Каски им заменяли серые фуражки с длинным козырьком, над лобными долями зловеще сверкали полицейские значки.

– Нашли-таки, куда их пристроить, – произнес мужской голос рядом с Тристрамом. Говоривший был небрит, в поношенной черной одежде, под подбородком – зоб, точно валик жира, хотя само тело исхудалое. – Все, как один, безработные. – И поправился: – Были. Самое время, чтобы Правительство ими занялось. Вон там, видите? Это мой шурин. Второй с краю в первом ряду. – С позаимствованной гордостью он ткнул в ряды пальцем. – Пристроили их, – повторил он. Он был, по всей очевидности, одиноким и радовался шансу с кем-то поговорить.

– Зачем? – спросил Тристрам. – Из-за чего это все?

Но он и сам знал: это конец Пелфазы, людей собирались заставлять быть хорошими. Он испытал некоторый страх за собственную шкуру. Может, все-таки лучше вернуться на работу? Возможно, если он вернется прямо сейчас, никто ничего не заметит. Глупо было уходить – он никогда ничего такого раньше не делал. Возможно, следует позвонить Джоселину и сказать, что ушел раньше времени, потому что ему стало плохо...

– Приструнит кое-кого, – быстро ответил жирношей худышка. – Слишком много молодых хулиганов слоняются по ночам. Слишком уж с ними миндальничают. Учителя их больше не контролируют.

– Кое-кто из новобранцев, – осторожно заметил Тристрам, – подозрительно похож на вышеупомянутых хулиганов.

– Вы называли моего шурина хулиганом? Лучшего парня свет не видывал, а он без работы уже почти четырнадцать месяцев. Он не хулиган, мистер.

Теперь свое место впереди роты занял офицер. Подтянутый, брюки облегают зад, серебряные нашивки на погонах сверкают на солнце, на бедре – пистолет в кобуре из мягчайшего кожама. Но рывкнул он неожиданно по-мужски:

– Роооооо...

Рота напряглась как от удара.

– ... та!

Рык швырнуло как камнем – новобранцы нестройно вытянулись по струнке.

– Разоооооойтись! (Долгое «о» качнулось между двумя согласными.)

Одни повернули налево, другие – направо, третьи выжидали, чтобы посмотреть, что будут делать остальные. Ответом стали смех и жиденькие аплодисменты из толпы. И теперь улица наполнилась группками смущенных полицейских.

Тристрам, к горлу которого подкатывала тошнота, направился к Ирншоу-мэншенс. В подвале этого толстого и скучного небоскреба находилось питейное заведение под названием «Монтегю». С недавнего времени единственным доступным спиртным стал пахучий дистиллят из овощей и фруктовой кожуры. Его называли «алк», и только желудки низших классов принимали его неразбавленным. Положив на стойку шестипенсовик, Тристрам получил стакан тягучего пойла, основательно разбавленного оранжадом. Больше пить было нечего: поля хмеля и старинные виноградники постигла участь лугов и табачных плантаций Виргинии или Турции – теперь на них выращивали съедобные злаки. Почти вегетарианский мир, некурящий и трезвый – если не считать алка. Тристрам торжественно поднял тост за этот мир и после второго шестипенсовика оранжадного огня почувствовал, что более или менее с ним примирился. Надежда на повышение умерла, Роджер умер. К черту Джоселина!

Тристрам почти благосклонно обвел взглядом тесную забегаловку. Геи, многие из них бородатые, щебетали в темном уголке; у стойки пили по большей части мрачные гетеросексуалы. Сальный толстозадый бармен подошел вразвалочку к музыкальному автомату в стене и затолкал в щель шестипенсовик, отчего автомат издал скрежет конкретной музыки: ложки, дребезжание оловянных мисок, торжественная речь министра рыболовного хозяйства, наполняющийся бочок в туалете, заводимый мотор – все это записано задом наперед, усилено или ослаблено и хорошенько перемешано. Мужчина рядом с Тристрамом произнес:

– Гадость хренова.

Обращался он к бочкам алка, не поворачивая головы и едва шевеля губами, словно, отпустив замечание, испугался, что его используют как предлог, чтобы втянуть в разговор.

Один бородатый гей начал декламировать:

Мое мертвое дерево.

О, верните мне мое мертвое, мертвое дерево.

Уходи, уходи дождь! Пусть земля останется

Суша. Загоните богов назад в растрескавшуюся землю

Проделав для этого дыру буром.

– Чушь хренова, – повторил мужчина чуть громче. Потом повел головой – медленно и настороженно – из стороны в сторону, изучая Тристрама справа от себя и пропойцу слева с

тщательностью такой, словно они были скульптурами друг друга и следовало проверить их на сходство. – Знаете, кем я был? – спросил он вдруг.

Тристрам задумался. Угрюмый, глаза запали, глазницы как угольные ямы, крючковатый красноватый нос, капризные стюартовские губы.

– Налей мне еще того же, – сказал мужчина бармену, бросая на стойку монеты. – Так и знал, что не угадаете! – Он победно повернулся к Тристраму. – М-да. – Он опрокинул неразбавленный алк с причмокиванием и вздохом. – Я был священником. Знаете, что это такое?

– Своего рода монах, – ответил Тристрам. – Что-то связанное с религией. – Произнес он это с изрядной долей благоговения, точно перед ним сидел сам Пелагий, но тут же поправился: – Да священников же больше не существует! Уже сотни лет никаких священников не было.

Мужчина вытянул перед собой руки, растопылив пальцы, словно проверяя, не дрожат ли.

– Вот эти руки, – сказал он, – творили повседневное чудо. – И более рассудительно добавил: – Несколько священников все-таки остались. Пара очагов сопротивления в провинциях. Те, кто не согласен со всем этим либеральным дерьмом. Пелагий был еретиком. Человеку необходима божья благодать. – Он снова уставился на свои руки, рассматривая их как врач, точно в поисках крошечного пятнышка, которое возвестило бы о зарождении болезни. – Еще того же! – приказал он бармену, запустив эти самые руки в карманы в поисках денег. – Да, – продолжил он, обращаясь к Тристраму, – священники еще существуют, хотя я больше не один из них. Вышвырнули! – шепнул он. – Лишили сана. О боже, боже, боже! – ударился он в мелодраму. Один гей, услышав воззвание к божеству, захихикал. – Но силу им никогда не отнять, никогда, никогда!

– Сесил, старая ты корова!

– Ну надо же! Ты только посмотри, что на нем надето!

Гетеросексуалы тоже повернулись посмотреть, но с меньшим энтузиазмом. На пороге стояла, улыбаясь до ушей, троица новобранцев-полицейских. Один изобразил небольшую чечетку, завершив ее неуверенным, подергивающимся салютом, – наверное, считал, что отдает честь. Другой сделал вид, что поливает помещение очередями из карабина. Далекая холодная абстрактная конкретная музыка все лилась. Геи смеялись, сюсюкали, обнимались.

– Меня не из-за этого сана лишили, – сказал сосед Тристрама. – А из-за настоящей любви, самой что ни на есть истинной, не из-за этого кощунственного глумления. – Он мрачно кивнул на развеселую компанию полицейских и гражданских. – Она была очень молоденькой, всего семнадцать. О боже, боже. Но, – с нажимом повторил он, – божественную силу они отобрать не могут. – Он снова уставился на свои руки – на сей раз с видом Макбета. – Претворять хлеб и вино, – сказал он, – в тело и кровь... Но вина больше нет. А папа римский... бедный дряхлый старичок на Святой Елене. А я, – добавил он без ложной скромности, – треклятый клерк в Министерстве топлива и электроснабжения.

Один гей-полицейский бросил в музыкальный автомат шестипенсовик. Внезапно забренчала танцевальная мелодия: точно разорвался мешок со спелыми сливами – сочетание абстрактной мелодии и медленного, сотрясающего нутро фонового ритма ударных. Один полицейский начал танцевать с бородатым гражданским. Надо признать, выходит у них грациозно, решил Тристрам, замысловато и грациозно. Но расстрига скривился от отвращения.

– Показушничество хреново, – сказал он и, когда один из нетанцевавших геев прибавил громкость, вдруг ни с того ни с сего заорал: – Убери этот хренов шум!

Геи посмотрели на него с мягким интересом, а танцевавшие – открыв рот и все еще покачиваясь в объятиях друг друга.

– Сам убирайся, – предложил бармен. – Нам тут неприятности не нужны.

– Кощунственные ублюдки! – выругался расстрига.

Тристрама восхитило, как ловко он вворачивает церковные словечки.

– Это содомский грех! Господу следовало бы поразить всех вас насмерть!

– Старый ты кайфолом! – фыркнул ему один гей. – Ну куда ты лезешь?

И тут на него набросились полицейские. Прodelали они все быстро, грациозно, со смехом: это насилие ничем не напоминало избиения прошлых времен, о которых читал Тристрам, а скорее походило на щекотку. Однако не успел он сосчитать до трех, как священник-расстрига уже висел на стойке, хватая воздух залитым кровью ртом.

– Ты его друг? – спросил полицейский у Тристрама.

Тристрама шокировало, что на губах полицейского черная помада под стать черному галстуку.

– Нет, – ответил Тристрам. – Никогда его раньше не видел. В жизни его не видел. Я как раз собирался уходить.

Залпом допив алк с оранжадом, он встал.

– А потом пропел петух, – прохрипел священник-расстрига. – Вот кровь моя, – сказал он, утирая рот. Он был слишком пьян, чтобы чувствовать боль.

Глава 11

Когда напряжение волшебной одновременностью достигло своего пика и спало, когда они лежали, дыша тяжело, но уже медленнее, когда его рука оказалась зажата под ее расслабившимся телом, Беатрис-Джоанна подумала, а вдруг она все-таки ничего подобного не предполагала. Дереку она ничего не сказала, ведь это ее дело и ничье больше. Она чувствовала некоторую отстраненность, отдаленность от Дерека – так после написания удачного сонета поэт может чувствовать отстраненность от пера, которое перенесло его на бумагу. Из ее подсознания всплыло чужеземное слово *Urmutter*⁹, интересно, что оно значит?

Дерек первым очнулся от безвременья, лениво спросив:

– Интересно, который час? – Мужчины ведь существуют в рамках времени.

Пропустив вопрос мимо ушей, Беатрис-Джоанна сказала:

– Не понимаю, к чему эти ложь и лицемерие, зачем людям притворяться тем, чем они не являются. Какой-то жутковатый фарс, – говорила она резко, но все еще из своего безвременья. – Ты любишь секс. Ты любишь секс больше любого мужчины, кого я когда-либо знала. Однако относишься к нему как к чему-то постыдному.

Он глубоко вздохнул.

– Дихотомия. – Словом он бросил в нее лениво, праздно, как мячиком, набитым гагачьим пухом. – Вспомни про человеческую дихотомию.

– А что в ней такого? – Беатрис-Джоанна зевнула. – В человеческой как ее там? Дихотомии?

– Разделение. Противоречия. Инстинкты говорят нам одно, а разум – другое. Могло бы обернуться трагедией, если бы мы позволили. Но лучше видеть в этом нечто комичное. Мы правильно поступили, – продолжал он, опутив часть рассуждений, – выбросив Бога и посадив на его место мистера Морда-Гоба. Бог – трагическая концепция.

– Не понимаю, о чем ты.

– Неважно. – Его с запозданием застигла наконец ее зевота, и он тоже зевнул, открыв серовато-белые пластмассовые челюсти. – Конфликтующие требования линии и круга. Ты целиком и полностью линия, вот в чем твоя беда.

– Я округла. Я шарообразна. Сам посмотри.

– Телом да, а вот умом нет. Столько лет образования, лозунгов и подспудной кинопропаганды, а ты все еще существо инстинктов. Тебе нет дела до положения в мире, до положения в Государстве. А мне есть.

– А с чего бы мне беспокоиться? Мне надо свою жизнь прожить.

– Если бы не такие, как я, у тебя вообще не было бы жизни. Государство – это совокупность граждан. Предположим, никто не беспокоился бы из-за уровня рождаемости. Предположим, мы не начали бы тревожиться из-за прямой линии, которая все тянется и тянется. Мы буквально умерли бы с голоду. Видит Гоб, у нас и так не хватает еды. Нам удалось достичь своего рода баланса – силами моего департамента и сходных правительственных учреждений по всему миру, но долго так продолжаться не может, учитывая, как развиваются события.

– О чем ты?

– Старая история. Либерализм одерживает верх, а либерализм означает вялость. Мы перекладываем все на образование и пропаганду, бесплатные противозачаточные, абортарии и утешительные. Мы поощряем непродуктивные формы сексуальной активности, нам нравится обманывать себя: мол, люди достаточно мудры и добродетельны, чтобы сознавать свою ответственность. Но что происходит? Всего пару недель назад разбиралось дело одной пары из

⁹ Праматерь (нем.).

Западной провинции, у которой шестеро детей. Шестеро! Ты только подумай! И все живы-здоровы. Очень старомодные люди, к тому же верующие. На слушаниях оба твердили про исполнение Божьей воли и прочую ерунду. Один наш чиновник с ними поговорил, постарался их образумить. Только представь себе: восемь тел в квартирке меньше этой. Но разве таких вразумишь? По всей очевидности, у них оказался экземпляр Библии... Где, скажите на милость, они его раздобыли? Видела когда-нибудь Библию?

– Нет.

– Ну, это старая религиозная книга, полная разной чуши. Мол, растрчивать семя попусту – смертный грех, и если Господь любит тебя, то наполнит твой дом детьми. И язык совсем старомодный. Так вот, они постоянно на нее ссылались, говоря про плодovitость и про то, что сухая смоковница проклята и так далее. – Дерек поежился от неподдельного ужаса. – А ведь довольно молодая пара.

– Что с ними случилось?

– А что с ними могло случиться? Объясняли им, что закон ограничивает семью одним ребенком, живым или мертвым, а они в ответ – мол, это дурной закон. Мол, если бы Господь не хотел, чтобы человек был плодovитым, то зачем наделил его инстинктом к размножению? Им сказали, что Бог – устаревшая концепция, а они это отвергли. Им сказали, что у них есть долг перед соседями, и с этим они согласились, но они отказывались понимать, какое отношение к этому долгу имеет ограничение рождаемости. Очень сложное дело.

– И им ничего не было?

– Ничего особенного. На них наложили штраф. Выписали предупреждение не рожать больше детей. Выдали противозачаточные таблетки и велели сходить в местную клинику контроля рождаемости за инструкциями. Но они, похоже, ничуть не раскаялись, и таких, как они, много по всему миру – в Китае, Индии, Индокитае. Вот что больше всего пугает. Вот почему неизбежны перемены. От численности населения в мире волосы встают дыбом. У нас несколько лишних миллионов ртов. Подожди, вот увидишь со дня на день пайки урежут вдвое. Да, кстати, который час? – спросил он снова.

Вопрос был не слишком настоятельным: если бы захотел, он мог бы вытащить руку из-под ее теплого расслабленного тела, протянуть ее в дальний угол крошечной комнатки и взять свое наручное микрорадио, на оборотной стороне которого имелся циферблат. Но он слишком ленился двигаться.

– Наверное, около половины шестого, – ответила Беатрис-Джоанна. – Можешь с телевизором свериться, если хочешь.

Даже не приподнимаясь, она дотянулась до кнопки в изголовье кровати. На окно спустилась, скрывая дневной свет, плотная штора, и секунду спустя с потолка тихонько загулькала и запищала синтетическая музыка. Не духовая и не струнная, лишенная ритма абстрактная музыка – совершенно такая же, какую рассеянно слушал в тот самый момент наливающийся алком Тристрам. В этой, льющейся с потолка, были звуки вращающихся заслонок, капанье воды из крана, вой корабельных сирен, гром, марширующие шаги, речитатив в микрофон – все рваное и вывернутое, чтобы создать краткую симфонию, предназначенную скорее принести мирное удовольствие, чем возбуждать. Экран в потолке вспыхнул белым, потом взорвался цветной стереоскопической картинкой с изображением статуи, венчающей здание Правительства. Каменные глаза над барочной бородой и носом, способным рассекать ветер, смотрели с вызовом; позади статуи бежали, точно спешили, облака, и небо было цвета школьных чернил.

– Вот он, – сказал Дерек, – кто бы он ни был, наш святой покровитель. Святой Пелагий, святой Августин или святой Аноним – который из них? Сегодня вечером узнаем.

Лик святого расплылся, сменившись внушительным интерьером собора: почтенный серый неф, стрельчатые арки. От алтаря широким шагом надвигались две пухлые мужские фигуры, одетые в снежно-белое, как санитары в больнице.

– Священная игра, – возвестил голос. – «Челтенхемские леди» против «Джентльменов Западного Бромвича». «Челтенхемские леди» выиграли вбрасывание и первыми отбивают подачу.

Пухлые белые фигуры остановились проинспектировать воротца в нефе. Дерек нажал на выключатель. Стереоскопическое изображение утратило объемность, потом погасло.

– Значит, самое начало седьмого, – констатировал Дерек. – Мне пора.

Высвободив затекшую руку из-под лопаток любовницы, он сбросил ноги с кровати.

– Еще уйма времени, – зевнула Беатрис-Джоанна.

– Уже нет. – Дерек натянул узкие штаны, застегнул на запястье микрорадио, коротко глянув на циферблат. – Двадцать минут седьмого, – сказал он. Потом: – Вот уж точно Священная игра. Последний ритуал цивилизованного Человека Запада. – Он фыркнул. – Слушай, нам лучше с неделю вообще не встречаться. Что бы ты ни делала, не приходи ко мне в Министерство. Я сам с тобой как-нибудь свяжусь.

Эта фраза донеслась скомканно, заглушенная надеваемой рубашкой.

– Будь лапочкой, – попросил он, вместе с пиджаком надевая маску гомосексуалиста, – выгляни в коридор, не идет ли кто? Не надо, чтобы видели, как я выхожу.

– Ладно.

Со вздохом Беатрис-Джоанна встала и, надев халат, подошла к двери. Она посмотрела налево, потом направо, как ребенок, собирающийся переходить через улицу, и вернулась в спальню.

– Никого.

– Слава Гобу. – Последнее слово он произнес с капризной растяжкой.

– При мне незачем разыгрывать гея, Дерек.

– Каждый хороший актер, – прокартавил он, – начинает играть еще за кулисами. – Он игриво коснулся губами ее щеки. – До свидания, дражайшая.

– До свидания.

Покачивая бедрами, он направился к лифту: сатира в нем отправили спать до следующего раза, когда бы он ни наступил.

Глава 12

Все еще несколько взвинченный (невзирая на дополнительные два стакана алка в подвальной забегаловке возле дома), Тристрам вошел в Сперджин-билдинг. Даже тут, в просторном вестибюле, смеялись серые мундиры. Ему это не понравилось, ему нисколько это не понравилось. У решетки лифта пришлось подождать бок о бок с соседями по сороковому этажу: Уэйсом, Дартнеллом и Виссером, миссис Хэмпер и молодым Джеком Фениксом, мисс Уоллис и мисс Рантинг, Артуром Спрэггом, Фиппсом, Уолкер-Мередитом, Фредом Хэмпом и восьмидесятилетним мистером Эртроулом. Цифры на табло лифта вспыхивали желтым: 47-46-45.

– Я видел кое-что довольно страшное, – сказал Тристрам старому мистеру Эртроулу.

– А? – отозвался глуховатый мистер Эртроул.

38-37-36.

– Экстренное постановление, – говорил тем временем Фиппс, подвизавшийся в Министерстве труда. – Всем приказали вернуться к работе.

Молодой Джек Феникс зевнул. Тристрам впервые заметил черные волоски у него на скулах.

22-21-20-19.

– В доках полиция, – говорил тем временем Дартнелл. – Только так и можно с этими ублюдками. Они только силу понимают. Давным-давно так следовало.

Он одобрительно посмотрел на полицейских в сером: черные галстуки словно в знак траура по пелагианству, легкие карабины под мышкой.

12-11-10.

Воображение рисовало Тристраму, как он вмазывает какому-нибудь гею или кастрату прямо в симпатичное пухлое личико.

3-2-1.

И перед ним возникло лицо – не симпатичное и не пухлое – его брата Дерека. Братья изумленно уставились друг на друга.

– Что, скажи на милость, ты тут делаешь? – спросил Тристрам.

– Ах, Тристрамчик, – засюсюкал Дерек, выпевая имя в неискренней ласке. – Вот и ты!

– Да. Неужто ты меня искал?

– Именно, милый! Чтобы сказать, как мне ужасно жаль. Бедный, бедный маленький мальчик!

Лифт быстро заполнялся.

– Это официальные соболезнования? – Тристрам недоуменно нахмурился. – Я всегда полагал, твое Министерство только радуется смертям.

– Это только я, твой брат, – сказал Дерек. – Не чиновник из МБ. – Прозвучало это довольно натянуто. – Я пришел с... – «утешением», едва не сказал он, но успел сообразить, что прозвучало бы слишком цинично. – С братским визитом. Я видел твою жену... – Крохотная пауза перед словом «жена», неестественное подчеркивание, отчего само слово прозвучало весьма непристойно. – А она сказала, ты все еще на работе, поэтому я... И вообще мне ужасно, ужасно жаль. Надо нам, – неопределенно стал он прощаться, – посидеть как-нибудь вечером. Пообедать или еще что. А теперь надо лететь. Встреча с министром.

И он ушел – виляя задом.

Все еще хмурясь, Тристрам вжался в лифт, втиснулся между Спрэггом и мисс Уоллис. Что происходит? Дверь, скользя, закрылась, лифт начал подниматься. Мисс Уоллис, непеченная бледная клетка, нос у которой блестел точно был мокрым, дохнула на Тристрама призраком порошкового картофельного пюре. Почему Дерек снизошел до визита в его квар-

тиру? Братья не любили друг друга, и не единственно потому, что Государство всегда (в рамках политики по дискредитации самого понятия семья) поощряло братскую вражду. С незапамятных времен существовала зависть, обида на то, что Тристраму, отцовскому любимчику, всегда доставалось больше ласки: теплое местечко в отцовской кровати воскресным утром, верхушка с его яйца к завтраку, лучшие игрушки на Новый год. Второй брат и сестра добродушно пожимали плечами, но только не Дерек. Дерек давал выход зависти в пинках исподтишка, лжи, комьях грязи, брошенных на воскресный комбинезон Тристрама, безжалостной порче его игрушек. И последняя демаркационная линия в этой войне была проложена в подростковом возрасте: сексуальная инверсия Дерек и неприкрытое к ней отвращение Тристрама. Более того: невзирая на худшие шансы на образование, Дерек добился большего, много большего, чем его брат: рыки зависти, победно задираемый нос... И какая же гадкая мыслишка привела его сюда сегодня? Тристрам инстинктивно связал его визит с новым режимом, с началом Промфазы. Может, имел место краткий обмен звонками между Джоселином и Министерством бесплодия (обыск квартиры на предмет гетеросексуальных заметок к лекциям, допрос жены на предмет его позиции по вопросу контроля рождаемости)? В легкой панике Тристрам перебрал в уме свои прошлые уроки: тогда-то ироничное восхваление мормонов в Уте, в другой раз – пространные рассуждения о «Золотой ветви» (запрещенная книга!) или возможная насмешка над гей-иерархией после особо незадавшегося ланча в учительской столовой. «И надо же было как раз сегодня уйти с работы без разрешения!» – снова подумал он. А после, когда лифт остановился на сороковом этаже, со дна желудка поднялась храбрость. Алк кричал: «Пошли они все!»

Тристрам направился к квартире. У двери он помедлил, стирая автоматическое ожидание приветственных криков ребенка. Потом переступил порог. Беатрис-Джоанна сидела в домашнем халате, ничего не делала. Она быстро встала, очень удивившись, что муж вернулся так рано. Тристрам заметил открытую дверь в спальню и смятую постель, постель больного лихорадкой.

– У тебя был посетитель? – спросил он.

– Посетитель? Какой посетитель?

– Внизу я видел дорогого братца. Он сказал, что искал меня.

– Ах он. – Она шумно выдохнула, точно задерживала дыхание. – Я думала, ты про... ну знаешь... посетитель...

Тристрам потянул носом среди всепроникающего аромата «Антиафродизиака», словно уловив что-то скользкое, подозрительное.

– Чего он хотел?

– Почему ты так рано? – спросила Беатрис-Джоанна. – Плохо себя чувствуешь или случилось что?

– Я плохо себя чувствую от того, что услышал. Я не получу повышения. Против меня чадолубие моего отца. И моя собственная гетеросексуальность.

Заложив руки за спину, он бесцельно прошел в спальню.

– У меня не нашлось времени застелить, – объяснила она, входя поправить простыни. – Я была в больнице. Вернулась совсем недавно.

– Похоже, мы сегодня беспокойно спали. Так вот, – продолжал он, выходя из спальни, – место достанется какому-нибудь гомику-слизняку вроде Дерек. Полагаю, этого следовало ожидать.

– Скверные для нас сейчас времена, а? – подхватила Беатрис-Джоанна. С мгновение она стояла безвольно, с потерянным видом, держа конец смятой простыни. – Сплошные беды.

– Ты так и не сказала, зачем приходил Дерек.

– Я не поняла. Вроде бы искал тебя. – Едва-едва вывернувшись, подумала она, едва-едва. – Я сама удивилась.

– Ложь! – отрезал Тристрам. – Так я и думал, что он не только затем пришел, чтобы нам пособолезновать. И вообще, откуда ему было знать про Роджера? Как бы он выяснил? Готов поспорить, он и узнал только потому, что ты ему рассказала.

– Он уже знал, – начала импровизировать она на ходу. – Видел в Министерстве. Ежедневные данные о смертности или что-то вроде того. Поешь сейчас? Я совсем не голодна.

Оставив простыни, она вышла в гостиную и велела крохотному холодильнику, точно какому-то полярному божку, спуститься с потолка.

– Нет, он что-то задумал, – гнул свое Тристрам. – Тут нет сомнений. Мне надо следить за каждым шагом. – Тут в голову ему ударил алк, и он взвился: – Почему, скажите на милость? Пошли они все! Люди вроде Дерека управляют страной!

Он выдернул из стены стул. Беатрис-Джоанна дополнила обеденный гарнитур, подняв из пола стол.

– Я чувствую себя антисоциальным, – сказал Тристрам. – Бредово антисоциальным. Кто они такие, чтобы указывать нам, как жить! И вообще мне не нравится, что происходит. Кругом полно полиции. Вооруженной.

Он решил умолчать о том, что случилось со священником-расстригой в забегаловке «Монтегю». Жена не одобряла выпивки.

Беатрис-Джоанна подала ему котлету из растительного дегидрата, потом кусок синтелаксового пудинга.

– Питту хочешь? – предложила она, когда он закончил.

Питтой называлась вовсе не круглая лепешка, а «питательная единица», таблетированное творение Министерства синтетического питания. Когда жена наклонилась над ним, потянувшись к стенному буфету, Тристрам мельком увидел ее пышный бюст под халатом.

– Да пропади они все пропадом! – рявкнул он. – И, господи помоги, я совершенно серьезно.

Встав, он попытался обнять жену.

– Нет, пожалуйста, не надо! – взмолилась она.

Ничего путного все равно не выйдет, ей просто невыносимо его прикосновение. Она начала вырываться.

– Я плохо себя чувствую. Я расстроена.

Беатрис-Джоанна захныкала. Муж отступил.

– Ну и ладно, – сказал он. – Очень даже ладно. – Неловко встав у окна, он прикусил ноготь левого мизинца пластмассовыми зубами. – Извини. Я просто не подумал.

Собрав со стола бумажные тарелки, она бросила их в дыру в стене.

– Вот черт! – со внезапным гневом сказал Тристрам. – Нормальный порядочный секс они уже в смертный грех превратили. И ты больше его не хочешь. Ну и ладно... наверное... – Он вздохнул. – Похоже, придется присоединиться к добровольным меринам, если я вообще хочу сохранить работу.

В это мгновение Беатрис-Джоанну внезапно посетило то же ощущение, которое ослепительной вспышкой пронзило ее, когда она лежала под Дерексом на лихорадочно смятых простынях. Мгновение своего рода евхаристии с ревом труб и сполохами света, какое человек переживает (так говорят) в тот момент, когда перерезают оптический нерв. И крошечный, удивительно пронзительный голосок пискнул: «Да, да, да!» Если все кругом твердят про осторожность, может, и ей тоже следует быть осторожной? Не совсем осторожной, конечно. Только настолько, чтобы Тристрам не узнал. Известно ведь, что противозачаточные не всегда срабатывают.

– Извини, милый, я не то хотела сказать. – Она обняла его за шею. – Сейчас, если хочешь.

Если бы только это можно было сделать под анестезией! Тем не менее долго терпеть не придется.

Тристрам жадно ее поцеловал.

– Давай я приму таблетки, – предложил он.

С самого рождения Роджера (надо признать, в благословенно нечастных случаях, когда он вспоминал про свои супружеские права) он всегда настаивал, что сам примет меры предосторожности. Ведь на самом деле он Роджера не хотел.

– Я приму три. Для верности.

Крохотный голосок на это тихонько хмыкнул.

Глава 13

Беатрис-Джоана и Тристрам, чересчур поглощенные каждый своим, не видели и не слышали выступления премьер-министра по телевидению. Но в миллионах других домов с потолков спален (поскольку в других помещениях не хватало места) стереоскопическая проекция одутловатого, обвислого лица почтенного Роберта Старлинга мигала и хмурилась, точно готовая перегореть лампа. Это лицо сурово предостерегало о страшной беде, какая будет грозить Англии, всему Англоговорящему Союзу и даже земному шару в целом, если не принять, пусть и с сожалением, неких репрессивных мер. Дескать, идет война. Война против безответственности, против тех элементов, которые саботируют – и подобный саботаж очевидно недопустим – сам механизм Государства, против полномасштабного пренебрежения разумными и либеральными законами, в особенности законом, который на благо общества стремится ограничить численность населения. Уже сегодня вечером, самое позднее завтра, торжественно вещало сияющее лицо, по всей планете главы государств выступят со сходными обращениями к своим гражданам: весь мир объявляет войну самому себе. Жесточайшее наказание ждет за упорство в безответственности (подразумевалось, что карающим будет большее, чем караемым) ... выживание в масштабах планеты зависит от равновесия между населением и научно исчисленным минимальным запасом продовольствия... затянуть пояса... добиться победы... зло, с которым они станут сражаться... укрепить свой дух... да здравствует король...

Беатрис-Джоанна и Тристрам пропустили также увлекательные стереоскопические ролики с репортажем об окончании забастовки на заводах «Нэшнл синтелак»: полицейские, уже получившие прозвище «серомальчики», пускают в ход дубинки и карабины и все время смеются, комок хроматических мозгов шлепается на линзу камеры.

Пропустили они и последовавшее затем объявление об учреждении службы под названием «Полиция популяции», а ведь ее новоиспеченный **глава**, столичный комиссар, был хорошо знаком им обоим – брат, предатель, любовник.

Часть вторая

Глава 1

Во всех государственных учреждениях действовала система трех восьмичасовых рабочих смен. Но в школах и колледжах день (любой день, поскольку каникулы и выходные тоже распределялись посменно) делился на четыре, по шесть часов каждая. Приблизительно через два месяца после наступления Промфазы Тристрам Фокс сидел за полуночным завтраком (его смена начиналась в час), а в окно косо светила полная летняя луна. Он пытался съесть немного бумажного вида овсянки, политой синтелаком, но обнаружил, что, хотя и ходил последнее время круглые сутки голодным, поскольку пайки существенно сократили, через силу заталкивает в себя эту сырую волокнистую гадость: словно собственные слова пытаешься съесть. Пока он прожевывал очередную бесконечную ложку, синтетический голос из «Ежедневного новостного диска» (выпуск в 23 часа) пищал как мультяшная мышь. Сам же черный поблескивающий диск медленно вращался на стенной подставке-игле.

– ... беспрецедентно низкий улов сельди, объяснимый, по сообщением Министерства рыболовного хозяйства, только с точки зрения необъяснимого пробела в воспроизведении...

Потянувшись левой рукой, Тристрам его выключил. Что, теперь и у рыб есть контроль рождаемости? Тристрам выудил из подсознания обрывок генетической памяти: плоскую круглую рыбку выкладывают на тарелку... корочка коричневая, хрустящая... острый соус... Но всю рыбу, какую сейчас вылавливали, конвейеры перемалывали, превращая в удобрения или преобразуя в многоцелевые питательные брикеты (которые потом подавали на стол в виде супа или котлет, хлеба или пудинга) и которые Министерство естественного питания выдавало как основной ингредиент еженедельного рациона.

В тишине, без маниакального синтетического голоса и жутковатого журналистского сленга, Тристраму лучше стало слышно, как жену тошнит в ванной. Бедняжка, последние дни ее регулярно тошнит. Возможно, дело в еде. От такого кого угодно стошнит. Встав из-за стола, он заглянул к ней. Вид у нее был усталый и измученный, точно тошнота ее высушила.

– На твоём месте я бы ходил в больницу, – доброжелательно сказал он. – Узнал бы, в чем дело.

– Со мной все в порядке.

– Я бы так не сказал.

Он перевернул наручное микрорадио: стрелки на циферблате с обратной стороны показывали чуть больше половины первого.

– Надо бежать. – Он поцеловал ее во влажный лоб. – Береги себя, милая. Надо все-таки сходить в больницу.

– Пустяки. Просто желудок шалит.

Ради мужа Беатрис-Джоанна постаралась принять веселый вид.

Тристрам же вышел (просто желудок шалит?), чтобы присоединиться к группе соседей у лифта. Старый мистер Эртроул, Фиппс, Артур Спрэгг, мисс Рантинг – мешанина рас сродни пищевым брикетам: Европа, Африка и Азия, перемолотые и поперченные Полинезией, отправляются на рабочие места в министерствах и на государственных фабриках. Олсоп и бородатый Абазофф, Даркинг и Хамидун, миссис Гоу, мужа которой забрали три недели назад, готовы к смене, которая закончится на два часа позже, чем у Тристрама.

– Все совсем не так, как надо, на мой взгляд, – говорил дрожащим старческим голосом мистер Эртроул. – Неправильно, что копы все время за тобой наблюдают. В моей юности было по-другому. Если хотел покурить в туалете, шел и курил, и никто не приставал к тебе с вопро-

сами. А теперь не так. Да, не так. Эти копы круглые сутки тебе в затылок дышат. Так неправильно, скажу я вам.

Он продолжал ворчать, а бородатый Абазофф кивал, пока они входили в лифт, слушая безобидного и не слишком умного старика, ввинтителя большого винта в задние панели телевизоров, которые в бесконечном преумножении ползли мимо него по ленте конвейера.

– Есть новости? – тихонько спросил в лифте у миссис Гоу Тристрам.

Она подняла на него глаза – длиннолицая женщина сорока с чем-то лет, с кожей серой и прокопченной как у цыганки.

– Ни словечка. Думаю, его расстреляли. Расстреляли! – внезапно выкрикнула она.

Остальные пассажиры прикинулись глухими.

– Глупости. – Тристрам потрепал ее по худому плечу. – Он никакого серьезного преступления не совершил. Вот увидите, он скоро вернется.

– Сам виноват, – сказала миссис Гоу. – Пил алк. Раскрывал рот где попало. Я всегда ему говорила: рано или поздно он слишком далеко зайдет.

– Будет, будет. – Тристрам продолжал похлопывать.

Правда заключалась в том, что, строго говоря, Гоу рта вообще не разевал: он просто издал детский неприличный звук при виде группки полицейских возле какой-то забегаловки для буйных на задах Гатри-роуд. Его уволокли среди всеобщего веселья, и больше его не видели. Теперь от алка лучше держаться подальше. Пусть уж лучше его серомальчики пьют.

4-3-2-1. Тристрам, шаркая, вышел из лифта. На запруженной улице его встретила подернутая луной, сизая, как слива, ночь. А в вестибюле стояли представители Полпопа, иначе говоря – Полиции популяции: черные мундиры и фуражки со сверкающими козырьками, на кокардах и значках сверкает взрывающаяся бомба, которая при ближайшем рассмотрении оказывается разламывающимся яйцом. Невооруженные, не столь скорые на применение силы, как серомальчики, подтянутые и вежливые, они по большей части делали честь своему комиссару. Влившись в поток людей, направляющийся на ночную смену («кто бы мог подумать, что смерть унесла столь многих»), Тристрам вслух произнес «брат» в серебристое небо над ночным Ла-Маншем. В последнее время это слово приобрело исключительно бранный оттенок, что было нечестно по отношению к бедному безобидному Джорджу, самому старшему из трех братьев, упорно трудящемуся на сельскохозяйственной станции под Спингфилдом, штат Огайо. Джордж недавно прислал одно из своих редких писем, сухое и полное фактов об экспериментах с новыми удобрениями, недоуменных фраз о странной рже, заболевании зерновых, распространяющейся на восток через Айову, Иллинойс и Индиану. Милый надежный старина Джордж.

Тристрам вошел в огромный старый небоскреб, приютивший Унитарную школу (для мальчиков) Южного Лондона (Ла-Манш), отделение четыре. Смена Дельта выбегала, и один из трех заместителей Джоселина, самодовольный хлыщ с вечно приоткрытым ртом по фамилии Кори наблюдал за мальчишками, стоя в большом вестибюле. Смена Альфа сигала и ввинчивалась в лифты, неслась вверх по лестницам, по коридорам. Первый урок Тристрама был на втором этаже – начальная историческая география для двадцатого потока первого класса. Искусственный голос отсчитывал:

– Восемнадцать, семнадцать...

Это игра воображения, или голос детища корпорации «Нэшнл синтеглотка», звучит теперь строже, и теперь в нем слышится металл?

– Три, два, один.

Тристрам опаздывал. Сиганув в лифт для учителей, он, запыхавшись, ворвался в класс. Времена такие, что надо быть осмотрительнее.

Пятьдесят с чем-то мальчиков приветствовали его единым вежливым «Доброе утро». Утро, говорите? За окном безраздельно царила ночь, и правила ею луна, великий и пугающий женский символ.

– Домашнее задание, – начал Тристрам. – Домашнее задание на парты, пожалуйста.

Раздалось перезвякивание металлических застёжек, с которым мальчики расстегивали ранцы, потом хлопки обложек тетрадей и шорох, с которым они переворачивали страницы до той, на которой нарисовали карту мира. Заложив руки за спину, Тристрам обходил класс, мельком просматривая тетради. Огромный запруженный земной шар в проекции Меркатора, две великие империи – АнГос (Англоговорящий Союз) и РусГос (Русскоговорящий Союз) – приблизительно скопированы скособочившимися, высунувшими кончик языка мальчиками. Рукотворные архипелаги Придаточных островов (в просторечье – Придатков) для излишков населения все еще строятся в океанах. Мирный мир, забывший искусство самоуничтожения, мирный и обеспокоенный.

– Небрежно. – Тристрам ткнул указательным пальцем в рисунок Коттэма. – Ты поместил Австралию слишком далеко на юге. И забыл нарисовать Ирландию.

– Сэр, – сказал Коттэм.

А Гийнар, испуганный мальчик с темными кругами под глазами, домашнего задания вообще не сделал.

– Как это понимать? – спросил Тристрам.

– Я не смог, сэр, – ответил Гийнар, нижняя губа у него подрагивала. – Меня переселили в приют. У меня не было времени.

– А... Приют. – Это было нечто новое, заведение для сирот, временных или окончательных. – Что случилось?

– Их забрали, сэр. Папу и маму. Сказали, они сделали что-то дурное.

– Что они сделали?

Мальчик понурился. Не табу, но сознание преступления заставило его молча краснеть.

– Твоя мама только что родила маленького, да? – доброжелательно спросил Тристрам.

– Только собиралась, – пробормотал мальчик. – Но их все равно забрали. А потом упаковали все вещи. А меня отвезли в приют.

Тристрама обуял страшный гнев. Но этот гнев (и Тристрам со стыдом это понял), по сути, был наигранным, педантичным. Мысленно он увидел, как произносит речь в офисе директора: «Государство считает образование первостепенной задачей, что, надо полагать, означает, что и домашнее задание оно считает важным, и вот пожалуйста, Государство сует свой мерзкий лицемерный нос в мое дело и мешает моему ученику учиться. Морда мать его Гоб, давайте уже решим, на каком мы свете!» Немошный гнев человека, взывающего к принципам. Он, конечно же, знал, каков будет ответ: сперва самое главное, а самое главное – выживание. Вздыхнув, он потрепал ребенка по макушке, потом вернулся к доске.

– Сегодня утром, – сказал он, – мы будем рисовать на карте области восстановления Сахары. Берите карандаши.

Утро, как же! Морем школьных чернил за окном уверенно простиралась ночь.

Глава 2

Беатрис-Джоанна писала письмо. Она писала карандашом (какой неуклюжий устарелый предмет!) и для экономии бумаги – логограммами, которые выучила в школе. Два месяца, а от Дерек – разом ничего и слишком много. Слишком много публичных выступлений по телевидению: Дерек в черном мундире, Дерек, разумно увещающий комиссар Полиции популяций. Ничего от Дерек-любовника в более подходящем ему мундире наготы и желания. Цензуры писем не существовало, и Беатрис-Джоанна чувствовала, что может писать свободно. Она писала:

Милый!

Наверное, мне следует гордиться тем, какие тебе выпали честь и слава, и, конечно же, ты прекрасномотришься в своем новом наряде. Но я не могу не жалеть о прошлых временах, когда мы могли любить друг друга без тени забот помимо той, чтобы постараться, чтобы никто не узнал, что творится между нами. Я отказываюсь верить, что те прекрасные дни прошли безвозвратно. Я так по тебе скучаю. Я скучаю по твоим объятиям, и твоим поцелуям, и...

Она удалила значок «и»: кое-что слишком драгоценно, чтобы отдавать холодным логограммам.

... и твоим поцелуям. О, милый, иногда я просыпаюсь ночью, после полудня, или утром, или в то время, когда мы ложимся (согласно тому, в какую смену работает он), и мне хочется кричать – так я тебя желаю.

Она зажала левым кулачком рот, словно давя крик.

О любимейший, я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Я тоскую по твоим объятиям и по твоим губам...

Тут она увидела, что уже это написала, и вычеркнула, но от вычеркивания стало казаться, что она перестала тосковать по его рукам, губам и так далее. Пожав плечами, она продолжила:

Ты не мог бы как-нибудь дать о себе знать? Понимаю, писать мне слишком рискованно, потому что Тристрам непременно увидит твою весточку в стойке для писем в вестибюле, но ты мог бы как-нибудь дать мне знак, что все еще любишь меня? А ты ведь еще любишь меня, правда, любимейший?

Он мог бы прислать ей какой-нибудь пустячок. В стародавние времена, в дни Шекспира и паровых поездов, влюбленные слали своим любовницам цветы. Теперь, конечно, уцелевшие цветы превратили в съедобные. Он мог бы прислать пакетик растворимого бульона из примул, но это означало бы залезть в собственный скудный паек. Она тосковала по чему-нибудь романтическому и смелому, по великому еретическому жесту. В приступе вдохновения она написала:

Когда будешь в следующий раз выступать по телевизору, пожалуйста, если все еще любишь меня, включи в свою речь какое-нибудь особое слово – для меня одной. Включи слово «любовь» или слово «желание». Тогда я буду знать, что ты все еще меня любишь, как я все еще люблю тебя. В остальном у меня нет новостей, жизнь продолжается, как всегда, очень скучная и безотрадная.

Вот это была ложь: есть одна очень и очень большая новость, но ее следует держать при себе, решила Беатрис-Джоанна. Прямая линия в ней, вечное и дарующее жизнь копьё хотело крикнуть: «Возрадуйся», – но круг советовал быть осторожной, более того – непрошено тревожил дуновением дурного предчувствия. Она не желала беспокоиться – все как-нибудь обойдется.

Письмо она подписала: «Твоя вечно обожающая Беатрис-Джоанна».

Конверт она адресовала комиссару Д. Фоксу, штаб-квартира Полиции популяции, Здание бесплодия, Брайтон, Лондон, испытал легкую дрожь, когда писала «бесплодия», – слово, заключавшее в себе собственную противоположность. И крупными жирными логотипами добавила: «ЛИЧНОЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ».

Потом она отправилась в долгий путь вниз к почтовому ящику у входа в Сперджин-билдинг.

Была прекрасная июльская ночь, луна стояла высоко в небесах, мигали звезды, эти вечные спутники земли, – коротко говоря, ночь, созданная для любви. Пятеро молодых серомальчиков со смехом избивали напуганного недоуменного старика, который, судя по отсутствию реакции на оплеухи и дубинки, был под анестезией алка. А еще он казался нероновским назорейем, на которого натравили хихикающих львов и который поет псалом.

– Постыдились бы! – яростно упрекнула Беатрис-Джоанна. – Совести у вас нет! Бить несчастного старика!

– Занимайся-ка своим делом, – высокомерно отозвался один серомальчик и добавил с презрением: – Женщина.

Жертве позволили уползти, хотя петь он не перестал.

Беатрис-Джоанна, от мозга до костей женщина, занятая – социально и биологически – собственным женским делом, пожала плечами и отправила свое письмо.

Глава 3

В стойке для писем в учительской Тристрама ждало письмо, письмо от его сестры Эммы. Было половина пятого, время получасового перерыва на ланч, но колокол еще не пробил. Под окном учительской с моря восхитительно наползал восход. Тристрам пощупал письмо с аляповатой китайской маркой и надписями «Авиапочта» иероглифами и кириллицей, улыбаясь очередному примеру семейной телепатии. Всегда так происходило: за письмом от Джорджа с запада через день или два следовало письмо от Эммы с востока. Ни один из них, что показательно, никогда не писал Дереку.

Все еще улыбаясь, стоя среди коллег, Тристрам читал:

... Работа идет своим чередом. На прошлой неделе я летала в Чаньцзянь, оттуда в Хинчи, затем Шанхай, Туйюн и, наконец, Синьцзянь – устала смертельно. Здесь по-прежнему крайне не хватает места, даже сесть зачастую негде, но с момента внедрения нового политического курса Центральное Правительство перешло к действительно пугающим мерам. Всего десять дней назад в Чуньцине состоялась массовая казнь нарушителей закона о запрете на увеличение семьи. Многим из наших кажется, что китайцы заходят слишком далеко...

Как типично для Эммы такое преуменьшение! Тристрам вдруг увидел перед собой ее чопорное сорокапятилетнее лицо, почти услышал, как тонкие губы произносят слова.

... Но это как будто не оказало благотворного влияния на тех, кто наперекор всему еще лелеет жизненную цель стать почитаемым предком, которому будет поклоняться целый курган потомков. Подобные люди могут превратиться в «предков» раньше, чем ожидали. Курьезно, но, похоже, намечается голод в провинции Фуцзянь, где по какой-то неведомой причине погиб урожай риса...

Тристрам недоуменно нахмурился. Сообщение Джорджа о неведомой рже, губящей зерновые, репортаж в новостях о падении уловов сельди, теперь еще вот это. Это пробудило в нем какое-то слабое, но неумное подозрение, только вот он не мог сказать, в чем оно заключается.

– И как поживает сегодня наш милый Тристрамчик? – произнес вдруг молодой картавый голос.

Голос принадлежал Джеффри Уилтширу, новому главе Департамента общественных наук, – всеобщему любимчику-милашке, такому светленькому, что его волосы казались седыми. Тристрам, старавшийся не ненавидеть его слишком сильно, выдавил кислую улыбку.

– Хорошо.

– Я подключился к вашему уроку в шестом классе, – сказал Уилтшир. – Знаю, вы не обидитесь, если я скажу, мой милый, милый Тристрам, что вы преподаете то, что вам совсем не следовало бы преподавать. – Придвинувшись и подрагивая ресницами, он обдал подчиненного ароматом духов.

– Не припомню такого. – Тристрам старался совладать с подступающей паникой.

– А вот я прекрасно помню. Вы сказали что-то вот в таком духе. Искусство, сказали вы, не может процветать в обществе, подобном нашему, потому что искусство есть продукт «тяги к отцовству», – кажется, вы такой термин употребили. Погодите, – сказал он, увидев, что Тристрам изумленно приоткрыл рот, – погодите, это еще не все. Еще вы говорили, что инструменты, которыми творят искусство, по сути, символы плодородия. Так вот, мой все еще милый Тристрам, помимо того факта, мой все еще милый Тристрам, что невозможно понять, как это укладывается в учебную программу, вы совершенно добровольно – вы не можете это отрицать, – совершенно добровольно преподаете то, что, с какой стороны ни посмотреть, является по меньшей мере ересью.

Зазвонил колокол на ланч. Обняв Тристрама за плечи, Уилтшир повел его в учительскую столовую.

– Но это же чистая правда, – сказал, давя гнев, Тристрам. – Все искусство лишь аспект сексуальности...

– Никто, мой милый Тристрам, этого не отрицает. До некоторой степени это совершенно верно.

– Но ведь это идет глубже. Великое искусство, искусство прошлого прославляет плотское влечение. Возьмем хотя бы драму. У истоков трагедии и комедии лежат ритуалы плодородия. Жертвенный козел, по-гречески «трагос», дал жизнь трагедии, а деревенские приапические праздники кристаллизовались в комическую драму. Я хочу сказать... – захлебывался от возмущения Тристрам. – Взять хотя бы архитектуру...

– Ничего больше брать не будем.

Остановившись, Уилтшир убрал руку с плеч Тристрама и то ли погрозил ему пальцем, то ли помахал им у него перед глазами, точно разгоняя дым.

– Больше ведь такого не повторится, верно, милый Тристрам? Пожалуйста, ну пожалуйста, будьте осторожны. Все вас очень любят, знаете ли.

– Не понимаю, какое это имеет отношение...

– Это ко всему имеет большое отношение. Будьте хорошим мальчиком... – Уилтшир был по меньшей мере на семь лет младше Тристрама! – И держитесь учебного плана. Тут много не напортачишь.

Тристрам промолчал, с силой захлопнув крышку над закипающим гневом. Но, переступив порог душевной столовой, он намеренно двинулся прочь от Уилтшира, направляясь к столу, где сидели Виссер, Эйдер, Батчер, Фрити и Гаскел-Спротт. Это были безобидные люди, преподававшие безобидные предметы: простые навыки, где не было места полемике.

– Вид у вас неважный, – сказал узкоглазый Эйдер.

– Я и чувствую себя неважно.

Гаскел-Спротт во главе стола, поднося ко рту ложку очень жиденького овощного бульона, внес свою лепту:

– От этого вам станет только хуже.

– С тех пор как нам представился шанс обходиться с ними пожестче, мелкие гаденыши поутихли, – возобновил прерванный разговор Виссер. Он нанес несколько боксерских ударов воображаемому противнику. – Взять, к примеру, маленького Милдред. Странное имечко – Милдред, девчачье какое-то, хотя, конечно, у мальчишки это фамилия. Сегодня он снова опоздал, и что я сделал? Позволил нашим бугаям – ну знаете, Брискеру, Кучмену и прочим – до него добраться. Они хорошенько его отметелили. Каких-то две минуты, и все. С пола не мог подняться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.